

ДВАЖДЫ НИКИ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

ЕВТУШЕНКО

18+

Евтушенко Евтушенко

Дважды Ники

<https://litres.ru/74457528>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тело никогда не врёт — этому меня научили годы в зале и на ринге. Но однажды оно соврало окончательно: я умер, заслонив собой чужого человека в подворотне.

Второй шанс мне выдали не по правилам ни одной книги, которую я читал. Здесь магия — не набор заклинаний из игры, а выбор на всю жизнь: один маг — одна специализация, и точка. Я выбрал то, что умел лучше всего, — бить. Только теперь удар можно усилить силой, которой в моей прошлой жизни просто не существовало.

Здесь дерутся не за победу, а за то, чтобы дожить до завтра. Здесь никто не спасает мир бесплатно — я, по крайней мере, точно не горю желанием. У меня другая цель: разобраться, что вообще произошло, и, может быть, не наделать тех же ошибок, что в прошлой жизни.

Тёмное фэнтези про попаданца, который дерётся кулаками и заклинаниями одновременно — без роялей в кустах и без избранности, доставшейся по умолчанию.

Евтушенко

Дважды Ники

Глава 1

В каком бы мире вы ни нашли мои записи — знайте, что они дадут вам ответы на всё, что происходит в вашей жизни.

с. Ники

I

Тело не врёт. Это единственное, во что я верил по-настоящему.

Удаче я не верил, судьбе — тем более, и уж точно не верил в сказку про то, что всё само образуется, если просто подождать. Тело — другое дело. Оно честное до отворачивания: пропустишь месяц зала — оно тебе скажет об этом без сглаживания углов, без «может, обойдётся». Плечи сдадут первыми, потом уйдёт рельеф, потом начнёт сыпаться то ощущение собственной плотности, к которому привыкаешь настолько, что перестаёшь замечать, — и заметишь только тогда, когда его не станет. Я знал это на своей шкуре — не из статей. Отпуск, больница, что угодно, где тебя выключает из графика хотя бы на пару месяцев, — и ты уже не тот человек, которым привык себя ощущать. Ты не «немного слабее». Ты — другой, худший вариант себя, который зачем-то всё ещё ходит в твоей коже и удивляется, почему рукав куртки вдруг стал сидеть иначе. Спортзал в этом смысле честнее любого зеркала — зеркало хотя бы иногда врёт из вежливости.

При этом я не путал это с нарциссизмом. Меня откровенно смешили те, кто путал. В залах хватало клоунов, которые полгода набивали объём, а потом только и делали, что снимали футболку по любому поводу — на вечеринке, в раздевалке, на парковке у зала, — лишь бы поймать своё отражение

хоть в тонированном стекле чужой машины, хоть в витрине магазина через дорогу. Я не помню ни одного нормального бойца, который бы так делал. Штанга сама по себе драться не научит — это вообще другой вопрос, к рингу прямого отношения не имеющий. Силовая нужна была — я и сам половину недели проводил в тренажёрке помимо бокса, только не ради объёма: чтобы удар не терял в весе и чтобы связки держали жёсткий спарринг — без этого первое же приличное попадание рвало бы их в ключья. Разница простая: одно дело — тренировать тело, чтобы оно работало; совсем другое — чтобы оно красиво стояло в зеркале. Я занимался первым. Чистый бодибилдинг ради зеркала — бессмысленная штука. Такие «качки» падают от одного нормального удара и выдыхаются на второй минуте — и при этом держатся с апломбом людей, которым есть чем гордиться, хотя ни один из них не провёл на ринге ни одной настоящей минуты. Сразу видно — как клеймо на лбу, только бесплатное.

При этом я не примыкал и к другому лагерю — к тем, кого сам про себя называл скуфами: мужикам, которые сами когда-то бросили спорт в институте или ещё раньше, а теперь на диване годами обсуждают тех качков, отпуская в их сторону шутки про нетрадиционную ориентацию, просто потому что это проще, чем вернуться в зал самим. Я не принадлежал ни к одной из этих веток — двигался как-то сам по себе, по своей колее, и колея эта не оставляла много пространства для попутчиков. Оно и к лучшему: меньше наро-

ду, требующего объяснений.

Кое-что бесило меня в своё время гораздо сильнее всего этого спора про качков и скуфов, до самого настоящего зубовного скрежета: в книгах, в фильмах, в играх герой даже если и тренировался раньше, то потом годами где-то шагает, живёт на подножном корму, не притрагивается ни к штанге, ни к груше, ещё и курит, бывает пьёт, — а потом выходит и рвёт десяток противников голыми руками: тело тут как костюм, который просто надевают обратно, свежий и выглаженный, сколько бы он ни провалялся в шкафу. Ложь. Красивая, удобная, но ложь. Сценаристам, видимо, было попросту в лом платить каскадёру за реалистичную одышку. Я годами проверял это на себе каждый день, и ни разу оно не сработало иначе, чем должно было: ты не в той форме, что была. Всегда. Без исключений, сколько бы фильмов ни утверждало обратное.

II

Работал я в охране — на объекте, бизнес-центре из тех стеклянных, где по вечерам светится едва ли треть окон, а остальные стоят тёмные, как выбитые зубы. Взяли меня туда во многом из-за формы: начальник смены оценивающе обвёл меня взглядом на собеседовании, спросил, спортом занимаюсь ли, и, услышав про бокс, кивнул с видом человека, который только что закрыл вакансию раньше, чем рассчитывал. Работа была из тех, что не требуют ума, но забирают время подчистую — двенадцать часов сидеть у мониторов, обходить этажи по расписанию, расписываться в журнале. По ночам здание говорило само с собой — тихим гулом вентиляции, случайным скрипом лифта, который никто не вызывал, — и с этим бормотанием я свылся быстрее, чем с большинством людей. Многие в такой смене медленно превращаются в мебель. Я читал. Мебель, по крайней мере, не обязана делать вид, что ей интересно.

— Опять грызёшь свою книжку, — сказал Стас, напарник по смене, крупный, добродушный, с вечной пачкой чипсов на столе. — Эй, Ники! Ты бы хоть сериал какой включил, у нас тут монитор простаивает, никто не проверяет.

— Мне и так норм, — не отрываясь, ответил я.

— Ты вообще отдыхать умеешь? — он покачал головой, хрустнул чипсиной. — Смена, зал, опять смена. Когда жить-

то?

Я не ответил сразу. Не потому что не было ответа — просто озвучивать его в третий раз за месяц было откровенно лень, а сочинять для Стаса свежую версию не хотелось. На этих сменах, между обходами этажей, я и завёл небольшую доставку спортивного питания — ничего громкого, просто пара поставщиков, простенький сайт и телефон, который я проверял каждые полчаса. Вскоре она перестала быть карманными деньгами и неожиданно быстро превратилась в настоящие — этому, признаться, я удивился больше всех.

III

Ничего из того, что случилось потом, не возникло на пустом месте — такие вещи годами готовит всё, что было раньше, даже то, о чём сам давно не вспоминаешь напрямую.

Рос я в семье, где сила и слабость были не отвлечённым понятием из книжек. Это был бытовой факт — тот, с которым сталкиваешься за завтраком в тесной кухне, пропахшей то жареной картошкой, то отцовской машинной смазкой: он не всегда успевал отмыть руки до конца. Отец работал на заводе, руки у него были такие, что здороваться с ним было немного больно, — ладонь как из выдубленной кожи, костяшки крупные, как нарочно расклёпанные молотком, — но дома он говорил тихо, редко повышал голос, ходил медленно и грузно, и со стороны его легко было принять за мягкого, немного забитого человека. Один раз, мне было лет двенадцать, мы возвращались с рынка — тащили пакеты через ряды, мимо палаток с квашеной капустой и мокрым от утреннего дождя асфальтом, под нескончаемый гомон чужих голосов и звон мелочи в жестяных банках, — и у крайних ларьков трое взрослых мужиков окружили старика: божьего одуванчика в застиранной кепке, который, видимо, задолжал кому-то по мелочи и не смог расплатиться сразу. Кричали на него, толкали, один уже занёс руку — я запомнил ту руку, крупную, красную от холода, зависшую в воз-

духе на долю секунды дольше, чем нужно для замаха. Отец поставил сумки на асфальт — молча, без единого слова, — и пошёл прямо на них тем же неторопливым, тяжёлым шагом, которым обычно шёл к автобусной остановке. Он не ударил никого. Он просто встал между стариком и тем, кто заносил руку, и сказал что-то настолько тихо, что я, стоявший в трёх шагах, не расслышал ни слова, — но все трое как-то очень быстро вспомнили, что у них есть дела в другом месте. По дороге домой отец поднял сумки и больше не сказал об этом ни слова. Я запомнил это на всю жизнь. Правда, не сам эпизод — то, каким спокойным отец оставался всё это время, будто просто передвинул мебель, которая стояла не на своём месте.

Мать была полной его противоположностью на вид — маленькая, быстрая, с руками, вечно перепачканными в муке или земле с грядки, — и очень похожей по сути. Она разговаривала с соседями, с продавщицами, со случайными людьми в очереди так, как говорят с почти родными, — легко, тепло, без разбора, у неё в запасе бесконечный, непонятно откуда пополняемый ресурс доброты. Я всегда подозревал, что на самом деле безусловно она любила только нас, а остальное тепло было скорее привычкой быть доброй, чем настоящей любовью, — но раздавала она его так щедро, что разницы никто не замечал. Братьев у меня двое — Дима, старше меня на три года, и Егор, младше на два. Оба выросли обычными, спокойными парнями — без того зуда, что жил во мне с

детства и требовал постоянного подтверждения делом. Дима после школы пошёл в колледж, женился рано, работает мастером на монтаже окон. Егор до сих пор в поиске себя, меняет работы каждые полгода, и это его, кажется, вообще не тревожит. Оба смотрели на мою одержимость залом с одинаковой смесью уважения и лёгкого недоумения, как смотрят на родственника с необычным, но безобидным хобби — вроде разведения кактусов, только более потным, — тем более что я никогда не рвался ни в профессионалы, ни на соревнования, не хотел тратить здоровье и годы на чужие ринги и чужие правила. Я всегда знал, что бой в жизни — это совсем не то же самое, что раунд по регламенту. Готовился я как раз к первому — вторым можно было и не заморачиваться. Я был самым способным в семье — школу закончил играючи, на одни пятёрки, рано встал на ноги и по меркам семьи неплохо зарабатывал уже к двадцати трём, — и с детства носил в себе стойкое ощущение, что я самый странный, — что меня и правда подменили в роддоме на кого-то из другого теста, а родители до сих пор об этом не в курсе.

* * *

Школу я вспоминаю без особой ностальгии, но и без неприязни — просто как полосу, которую нужно было пройти, и я проходил её так же, как проходил всё остальное: с некоторым избытком силы, которую девать было особо некуда. Я быстро понял: играет роль вовсе не форма кулаков — рост, скорость, уверенность в движениях на площадке,

вот что работает как валюта, которую принимают в любом школьном коридоре. Я гонял в футбол на переменах и после уроков, на разбитой коробке за школой, где ворота были нарисованы мелом на кирпичной стене гаража, а поле — пыльный, вытоптанный до земли пустырь с двумя рядами облезлых гаражей по бокам, который громким словом «поле» называли разве что из вежливости. Капитаном меня ставили почти всегда, хотя бил по мячу я не лучше всех, чего уж там. Дело было в другом — я умел парой спокойных слов, без крика, разводить два лагеря, готовых сцепиться из-за спорного гола; той же интонацией, которую потом узнал в самом себе годами позже, во дворе с гаражами совсем другого рода. Класс вокруг меня как-то сам собой сбивался в единое целое, когда я был рядом. Объединять я специально не старался — я просто не терпел мелкой грызни и умел показать это без единого удара, одним взглядом или парой фраз.

Внимание девушек — и из моего класса, и из параллельного — появилось само собой примерно классе в девятом, вместе с тем, как я начал вытягиваться и раздаваться в плечах после первого года лёгкой атлетики, — и я, если честно, довольно быстро научился им пользоваться, ещё не до конца понимая правила игры, в которую играю. Правила я, впрочем, доучивал по ходу дела — жизнь в этом смысле щедрее любого учебника на пересдачу.

Дело было не в каких-то экстраординарных событиях того вечера — дело было в одной детали, которая тогда во мне ти-

хо, но окончательно щёлкнула, и поэтому ту вписку я запомнил во всех подробностях. Родители одноклассницы уехали на дачу на выходные, квартира — типовая трёшка на девятом этаже — быстро наполнилась людьми, музыкой из колонки, поставленной на подоконник, запахом дешёвого пива и чужих духов. Свет в комнатах приглушили, кто-то зажёл свечи прямо в стеклянных банках, и по стенам плясали неровные тени, слишком театральные для обычной квартиры в спальном районе. В коридоре кто-то уже разлил пиво на ламинат, и от этого весь вечер немного пах кислым и сладким одновременно; на кухне, где я в итоге и осел, окно было приоткрыто в ноябрьскую темноту.

— Ты чего тут сидишь, философ? — спросил кто-то из ребят, проходя мимо с двумя банками в руках. — Там танцуют вообще-то.

— Отсюда лучше видно, — ответил я, не сильно кривя душой.

Я сидел на кухонном подоконнике, потому что там было тише, и наблюдал — не участвовал, только наблюдал: привычка, которую тоже пронёс через всю жизнь. И увидел, как один из моих тогдашних приятелей — не близкий друг, но из тех, кого я считал более-менее надёжным, — при первой же возможности при всех высмеял другого парня из нашей же компании, того, кто в тот вечер был не в форме, разбит после какой-то домашней истории, — высмеял ради одобрительного смеха трёх девушек в углу, легко, без малейшего коле-

бания. Тот, кого высмеяли, попытался отшутиться, не смог, вышел на балкон один, и через мутное стекло было видно, как он там просто стоит, обхватив себя руками от холода, глядя на стоянку внизу. Никто, кроме меня, этого даже не заметил. И вот тогда, глядя на всё это со своего подоконника, я понял вещь, которая потом определила очень многое: людям верность стоит ровно столько, сколько стоит текущая социальная выгода, и переоценивают её они мгновенно, без малейших угрызений, стоит только сцене немного измениться. Я не осуждал того приятеля — я, наверное, впервые тогда осознал, что и сам, окажись на его месте с той же ставкой, вряд ли бы поступил иначе. Просто с той вписки я перестал считать людей данностью, которой можно доверять по умолчанию. С тех пор это была переменная — и её приходилось каждый раз проверять заново, прежде чем доверить ей вес.

Полину я узнал раньше — мы учились в одном классе с седьмого, — но по-настоящему заметил в тот же вечер: она сидела на диване в дальней комнате, спокойная в шуме, который явно её не касался, светлая чёлка падала на глаза, и она то и дело сдвигала её движением губ, не поднимая руки. На ней была тонкая вязаная кофта не по погоде, слишком лёгкая для ноября, рукава она постоянно натягивала на кулаки, и от этого движения — мелкого, почти незаметного — она казалась младше своих шестнадцати. Худая, узкоплечая, с той ещё не до конца оформившейся, подростковой лёгкостью в фигуре, которая через год-два должна была

превратиться в нечто более определённое, — и я, помню, тогда впервые поймал себя на мысли, что смотрю на неё больше, чем требуется, чтобы просто узнать одноклассницу. Начали встречаться мы через пару недель после этого, и первые месяцы были ровно тем, чем должны быть первые месяцы в шестнадцать лет, — лёгкими, немного глупыми, полными долгих переписок ночью и того особенного ощущения, что весь остальной мир вокруг слегка приглушён, а резкость наведена только на одного человека.

Тянулось это почти два школьных года — с середины десятого до самого выпуска. Первый секс у нас случился весной одиннадцатого класса, обоим было уже восемнадцать, — на съёмной даче её тёти, куда мы вырвались якобы готовиться к экзаменам, а на деле просто хотели побыть без чужих глаз хотя бы сутки. Я ждал от этого чего-то большего, чем получил. Разочарования тут, впрочем, не было — скорее ощущение несоразмерности: столько лет вокруг этого выстраивают целую мифологию — в фильмах, в разговорах старших парней, в собственном воображении, — а по факту это оказалось на удивление обыкновенным, тёплым, немного неловким и уж точно не тем переломным моментом, после которого мир должен был перевернуться. Я помню, что лежал потом, глядя в дощатый потолок дачного домика, и думал вовсе не о ней и не о себе — думал об этом несоответствии: вот, значит, и всё, из-за чего столько шума. Это было честное, почти отрезвляющее открытие — первое из

многих, которые убеждали меня, что реальность почти всегда скромнее любых её пересказов.

К последним месяцам школы то, что раньше казалось мне лёгкостью Полины, я всё чаще начал читать как пустоту. Разговоры вращались вокруг одного и того же узкого круга тем, любое несогласие с её мнением воспринималось как личное оскорбление, а на прямые разговоры о свадьбе и детях, которые она заводила всё чаще, у меня был один и тот же честный, но плохо принимаемый ответ: я вообще не понимал, как справиться с собственной жизнью, не то что с чужой, — я в свои семнадцать не представлял, как вывести своё собственное существование хоть на какой-то приличный уровень, и мысль о том, чтобы уже сейчас нести ответственность ещё и за детей, казалась мне не романтикой, а преждевременным приговором. Я не был к ней жесток намеренно — я просто медленно, месяц за месяцем, переставал видеть в ней того человека, в которого влюблялся, и она, кажется, это чувствовала раньше, чем я успевал это сформулировать словами.

Разрыв случился не тихо. На выпускном, уже изрядно вымотанные затянувшимся вечером и обоюдным раздражением, копившимся неделями, мы сцепились в коридоре школы, вдалеке от музыки и остальных, — и в какой-то момент она бросила мне в лицо, зло и уязвлённо, что я всегда смотрел на неё свысока, что для меня она никогда не была равной. Дальше случилось то, о чём я потом долго не мог с собой до-

говориться. Я знал — знал совершенно точно, — куда именно нужно ударить словами, чтобы это причинило максимум боли. Не в лицо и не в характер: в ту единственную трещину, о которой она сама мне однажды, доверяя, рассказала — про то, как боится повторить судьбу собственной матери, которую бросили сразу после школы с ребёнком на руках. Я произнёс это спокойно, ровно, глядя ей прямо в глаза, зная заранее, какой эффект это произведёт, — и эффект произошёл такой, какой я рассчитывал: она замолчала, побелела, а потом просто ушла, не сказав больше ни слова. Я не кричал. Я не оскорблял её напрямую. Я просто взял то, что она сама доверчиво отдала мне в руки, и использовал это как скальпель, аккуратно и точно, — и в ту секунду, когда она уходила по коридору, я не чувствовал вины. Я чувствовал что-то куда более неприятное — холодное, почти техническое удовлетворение от точности удара, как после хорошо поставленного апперкота. Вина пришла позже, ночью, когда я лежал один и пытался понять, откуда во мне вообще берётся способность делать что-то подобное настолько хладнокровно. Ответа я тогда не нашёл. Не нашёл его и годами позже.

* * *

Институт я выбрал почти случайно — прошёл баллом в экономический, о призвании речи не было вообще: просто следующая по списку специальность, до которой дотянулись баллы ЕГЭ. Окончил школу с одной четвёркой на весь аттестат и первую сессию закрыл так же легко, почти не напря-

гаясь, чем сразу выделился среди однокурсников, для которых зачёты превращались в трагедию вселенского масштаба. Учёба вообще давалась мне подозрительно легко — настолько легко, что я иногда ловил себя на мысли, что не доверяю этой лёгкости так же, как не доверял бы лёгкому сопернику на ринге: если что-то даётся без борьбы, значит, где-то есть подвох, который пока не проявился. Первый курс запомнился в основном не парами — тем, что я легко получал внимание: рост, форма, характер, который девушкам почему-то читался как загадка, хотя загадки там не было, была просто закрытая дверь. Я этим пользовался без особых угрызений: ничего не обещал, ничего не скрывал, но и не церемонился, когда интерес угасал с моей стороны.

Вика ворвалась в мою жизнь на втором курсе настолько внезапно, что я до сих пор не могу с уверенностью назвать момент, когда это произошло, — просто в один день её ещё не было. Через неделю она уже прочно занимала непропорционально много места в моей голове — как незванный жилец, въехавший без предупреждения и тут же расставивший свои вещи по всем полкам, до которых дотянулся. Она училась на дизайн-факультете, невысокая, с острыми ключицами и татуировкой мелкой ласточки на запястье, которую сама же в порыве набила себе в подпольной студии на первом курсе, красила волосы в разные, часто совершенно неподходящие друг другу цвета раз в месяц — то в почти белый, то в глубокий, чернильно-синий, — и одевалась каждый день

как на разные вечеринки сразу: рваные колготки под строгой юбкой, растянутый мужской свитер поверх кружевного топа. Она могла позвонить в три часа ночи с предложением немедленно ехать смотреть рассвет на крышу дальнего от общаги дома, потому что ей «приснилось, что это важно», и с одинаковой лёгкостью смеялась и срывалась в слёзы посреди разговора — без видимой причины, просто потому что эмоция накрывала её целиком и требовала немедленного выхода. Меня, привыкшего к контролю над собой как к базовой настройке организма, это зацепило почти физически — как зацепляет вид чего-то, что делает ровно то, чего никогда не позволил бы себе ты сам. Мы встречались бурно, хаотично, без чёткой структуры отношений: то не расставались неделями, то не разговаривали по три дня из-за ссоры, повод которой ни один из нас потом не мог внятно восстановить.

Ближе к зиме я как-то предложил — спокойно, без злого умысла, просто честно — что нам, наверное, стоит на время отдохнуть друг от друга, слишком много качелей для одного семестра. Она замолчала на другом конце провода настолько надолго, что я успел подумать, что связь оборвалась, а потом произнесла ровным, неестественно спокойным голосом, что если я это сделаю, ей незачем будет утром вставать вообще, и что она уже думала, как именно это устроить. Я примчался к ней через весь город среди ночи, не раздеваясь просидел у неё на кухне до рассвета, уговаривал, обещал, что никуда не денусь, — и остался. Мы не расстались в тот раз — это слу-

чилось только месяцы спустя, — но та ночь заставила меня взглянуть на её хаос иначе: я так и не узнал наверняка, было ли это настоящим отчаянием или точным, безошибочным чутьём на то, какая фраза меня удержит, — и это незнание с тех пор всегда сидело где-то на дне моего доверия к ней, не давая ему стать полным.

Первые месяцы это ощущалось как непрерывное приключение — с ней невозможно было заскучать, потому что она сама была ходячим источником непредсказуемости. Но примерно к весне я начал замечать закономерность, которая медленно убивала весь эффект: хаос Вики оказался не таким уж хаотичным — просто ограниченным набором сценариев, которые повторялись по кругу с пугающей регулярностью, стоило понаблюдать достаточно внимательно. Слёзы посреди ночи, внезапные исчезновения на день-два, драматичные примирения — всё это начало читаться мной наперёд, как приём в спарринге, который соперник использует слишком часто. Я, кажется, в тот момент впервые чётко осознал одну неприятную особенность собственного устройства: как только человек переставал быть загадкой, переставал быть непредсказуемой переменной, интерес во мне гас почти механически, без всякого моего желания это контролировать. Мы разошлись без единого громкого скандала — просто однажды перестали писать друг другу первыми, и оба молчаливо согласились считать это концом.

Жили мы с Ромой в стандартной общежитной комнате на

двоих — восемнадцать квадратов, две кровати вдоль стен, обшарпанный шкаф на двоих и подоконник, заставленный с моей стороны спортивным питанием и стопкой книг, а с его — учебниками по программированию, которые он честно пытался читать, но чаще просто использовал как подставку под чай. На стене у меня висел самодельный график тренировок, у него — постер какой-то инди-игры. Пахло в комнате смесью дешёвого дезодоранта, лапши быстрого приготовления и, по вечерам после моих тренировок, тяжёлым запахом кожи и пота от перчаток и бинтов, которые я сушил на батарее, — Рома демонстративно морщился и называл это «спортивным супом». Я предлагал ему открыть форточку. Он предпочитал на час переселяться к соседям по этажу.

Сам Рома был моей полной физической противоположностью — сутулый, худой той нескладной, ещё не устаканившейся худобой, что свойственна ботаникам, вечно щурился без очков, которые ленился носить, хотя они были ему нужны, и двигался по комнате с какой-то забавной неуклюжестью. При этом он был единственным человеком на курсе, чьё мнение мне было действительно интересно услышать: соглашался он со мной хорошо если через раз, и в этом была вся ценность.

Разговоры с ним на эту тему были короткими и циничными.

— Ты когда-нибудь думал, что с тобой не так? — спросил он как-то, когда я в очередной раз спокойно объяснял оче-

редной девушке, что не готов ни на что серьёзное.

— Со мной всё так, — ответил я. — Я не обещал. Она сама знала, на что шла.

— Ты правда в это веришь, — Рома прищурился, по обыкновению без очков, — или просто удобно так думать?

Я тогда не нашёлся, что ответить сразу — мне было откровенно лень разбираться, прав он или нет. В свои двадцать я искренне не видел в этом проблемы. Проблема появилась позже, и звали её иначе.

К единоборствам меня тянуло задолго до института. В школе я несколько лет отбегал лёгкую атлетику — брал первые места в городе на короткой дистанции, и эти годы бега заложили ту поджарую, жилистую основу, которую я потом донашивал всю жизнь, задолго до штанги и гири. Пробовал и карате — классическое, спортивное, с чётким сводом правил, где за удар в голову рукой дисквалифицировали на месте, — и довольно быстро понял, что вся эта аккуратная, регламентированная система имеет крайне мало отношения к тому, что происходит, когда на тебя действительно нападают на улице, где никто не судит по очкам и не останавливает бой при первой крови, — что на улице годится разве что для красивой эпитафии. Это разочарование, как ни странно, тоже сыграло свою роль в том, что произошло дальше.

В бокс я пришёл на втором курсе — не за компанию и не ради фигуры: случайно оказался на любительском турнире, куда затащил тот же Рома, и увидел человека, который был

выше меня на голову и очевидно сильнее физически, но проиграл технически подкованному сопернику раза в полтора легче себя за одну минуту. Что-то в этом зацепило — доказательство того, что сила не равна массе, что за ней стоит система, которую можно выучить, в отличие от карате, дававшего лишь иллюзию системы.

Зал, куда я в итоге пришёл, располагался в подвале старой заводской постройки — низкие своды, вечная сырость на бетонных стенах, запах старой кожи от груш вперемешку с потом и вазелином, которым перед спаррингом смазывали лицо, чтобы перчатка меньше рвала кожу. Тренер, Иван Палыч, лысый, вечно недовольный мужик за пятьдесят с сеткой шрамов над левой бровью и голосом, стёртым десятилетиями крика через ринг, окинул меня одним долгим, неприязненным взглядом — так смотрят на очередного новичка, который продержится максимум месяц, — и на первом же занятии сказал мне то, что я потом повторял себе годами: «Тело врать не будет. Хочешь врать себе — иди в другое место, там таких любят». Complimentов от него я не дождался ни разу за все годы — подозреваю, у него их просто не было в словарном запасе. Я не ушёл.

Первые полгода из меня выбивали дурь в буквальном смысле слова — Палыч поставил меня в пару со своим первым учеником, Тимуром, крепким, коренастым парнем на пять лет старше, с приплюснутым от старых травм носом и совершенно равнодушным взглядом человека, для кото-

рого разбить очередному новичку губу было делом настолько привычным, что не вызывало ни малейшего сочувствия. Первые недели я приходил домой с синяками на рёбрах и звоном в ушах, засыпал раньше, чем успевал додумать мысль, и каждый раз, натягивая перчатки на следующей тренировке, ловил себя на злости на собственное тело, которое явно ещё не умело того, что я от него требовал, — Тимур тут был почти ни при чём. Именно тогда я понял то, о чём не подозревал заранее: в большинстве залов, о которых потом читал и слышал, тренировки на девяносто процентов состоят из отработки техники — постановки ног, углов, работы у зеркала, — а полноценные спарринги случаются раз в неделю, если повезёт, потому что тренеры берегут учеников от травм и лишних синяков. У Палыча было иначе — спарринги стояли в расписании через день, жёсткие, почти всегда до звона в голове, и этой редкой, почти безрассудной честностью мне и повезло: тело действительно училось по-настоящему драться, а зеркало могло подождать.

Я вцепился в это со всей одержимостью, на какую был способен. Ходил без единого пропуска — ни по болезни, ни по настроению, ни по банальной лени, — и через полгода Тимур перестал разбивать меня в одну калитку. Ещё через несколько месяцев наши с ним спарринги стали равными настолько, что Палыч начал ставить нас в пример остальным новичкам. К концу второго курса я был лучшим в зале среди любителей моего уровня, и это признавали все. Самым талантливым я

не был — я отдавал тренировкам буквально всё: выходил с татами настолько мокрым, что после душа выжимал воду из носков в раздевалке, как выжимают половую тряпку, и Палыч, глядя на это, только качал головой и бурчал что-то вроде «нормальный, будет толк».

* * *

С Надей — так звали ту самую девушку, из-за которой всё в моей голове насчёт отношений однажды перестроилось, — я познакомился не эффектно, без всякой драмы, которую любят описывать в подобных историях. Она ходила на секцию ММА в том же зале, на два часа раньше моей тренировки, и первые несколько недель я вообще не обращал на неё особого внимания — просто ещё одна девушка среди тренирующихся, каких там хватало. Заметил я её не за яркий момент — за накопившийся: раз за разом, неделя за неделей, я видел, как она работает с новичками, которых сама тренер ставила к ней в пару, — терпеливо, без раздражения, без единого намёка на превосходство, хотя разница в уровне была очевидной. Остальные в её положении обычно либо откровенно скучали в таких парах, либо демонстративно доминировали, чтобы напомнить всем, кто здесь кто. Она — нет. Была она невысокой, крепко сбитой, с коротко стриженными тёмными волосами и небольшим шрамом над правой бровью — след неудачного спарринга, как я потом узнал, — и двигалась по залу с той экономной, лишённой всякой театральности собранностью, которая сразу выдаёт челове-

ка, для которого тело — рабочий инструмент, а зеркало заботит в последнюю очередь.

Заговорили мы однажды случайно, после её тренировки и перед моей.

— У тебя восстановление между подходами какое — по времени или по пульсу считаешь? — спросил я, скорее из любопытства, чем из настоящей необходимости, кивнув на её конспект в блокноте у сумки.

Она подняла на меня взгляд — прямой, оценивающий, без тени кокетства.

— По пульсу. Время врёт, оно у всех разное в разный день. А пульс не соврёт — если он не упал до нужного порога, значит, ты ещё не восстановился, сколько бы минут ни прошло по часам.

Что-то в этой фразе — «пульс не соврёт» — прозвучало настолько знакомо, что я на секунду замолчал.

— У меня похожая философия, только про тело в целом, — сказал я. — Оно единственное, что не обманывает.

— Значит, ты уже понял главное, — ответила она без улыбки, но и без холода, просто как утверждение факта. — Большинство тратит годы, чтобы это понять, а некоторые вообще не доходят.

Разговор неожиданно для меня затянулся на сорок минут прямо у дверей зала. Говорили вовсе не о фитнесе: о том, почему люди вообще выбирают путь наименьшего сопротивления и почему дисциплина стольким кажется наказанием,

хотя на деле она чистая свобода, — пока администратор не начал демонстративно звенеть ключами, показывая, что пора закрывать. Я уходил в тот вечер с редким для себя ощущением, что встретил не просто симпатичного человека — кого-то, чья внутренняя система координат была настроена почти так же, как моя собственная, — и это пугало и притягивало одновременно. Много позже я понял это иначе: похоже, я годами уже искал такого человека, а Надя просто оказалась рядом в нужный момент, чтобы поиски наконец прекратились. Я упал к её ногам, толком не разобравшись, любовь это или банальное облегчение от того, что искать больше не нужно.

Мы встречались почти два года. Она не была «крутой пацанкой» — ни татуировок напоказ, ни манеры доказывать что-то каждому встречному. В ней была тихая уверенность человека, который давно проверил себя на татами и с тех пор в словах попросту не нуждался. Именно она, кстати, настояла в своё время, чтобы я перестал относиться к доставке питания как к баловству на сменах, а сел и посчитал цифры нормально — открыл таблицу, расписал закупки, маржу, обороты.

— Ты либо делаешь это, либо нет, — сказала она тогда, без предисловий, разложив передо мной на кухонном столе распечатанные листы с моими же собственными цифрами. — А то, что ты сейчас делаешь, это не бизнес, это дорогое хобби с доставкой.

Она была права, и от того, что она это сказала так прямо, без попытки смягчить, мне это понравилось только больше — это было ровно то же ощущение, что и от разговора с собственным телом: без экивоков, без утешительной лжи, просто голый факт, который либо принимаешь, либо нет.

У нас была своя маленькая привычка — глупая, но наша: после каждой особенно тяжёлой тренировки мы заходили в один и тот же круглосуточный магазин за одинаковым протеиновым батончиком, который оба считали отвратительным на вкус, и всё равно покупали снова и снова, потому что это давно превратилось в ритуал — выбор здесь был уже ни при чём. Она называла это «нашей традицией плохих решений». Я в шутку отвечал, что это единственная плохая привычка, которую она мне позволила.

После одного такого вечера, у того же круглосуточного магазина, она впервые увидела ту сторону меня, о существовании которой предпочитала не думать. Мы возвращались с зала поздно, и у входа в магазин крепко пьяный мужчина лет сорока навязчиво приставал к кассирше — молодой девушке, явно растерянной и напуганной, — не отпускал её от кассы, что-то невнятно требуя, хватал за рукав форменного жилета. Я подошёл — спокойно, без единого повышения тона — и попросил его отпустить руку. Признаюсь честно, хотя бы самому себе: я прекрасно понимал, что этот пьяный, нетвёрдо стоящий на ногах мужик представляет для меня ровно ноль опасности, это было даже не подобие спаррин-

га, — и часть меня подошла к нему не столько из настоящего сочувствия к кассирше, сколько из желания, чтобы Надя увидела во мне человека, которому не всё равно. Мне, если совсем честно, было почти всё равно.

Он отпустил, развернулся ко мне, начал что-то агрессивно бормотать, тыкая пальцем в грудь, а потом шагнул ко мне вплотную — явно собираясь толкнуть. Я ударил его один раз — точно под рёбра, в солнечное сплетение, коротко и без замаха, — и он сложился пополам, осел на плитку у входа, хватая ртом воздух, который никак не хотел заходить в лёгкие. Я присел рядом на корточки, чтобы он видел моё лицо, и продолжил — уже словом, тем, что умел едва ли не лучше кулаков. Я вгляделся в него внимательно, считывая целиком: помятую куртку, дешёвые ботинки, обручальное кольцо, стёршееся почти до блеска металла под ним, — и произнёс несколько фраз тихим, ровным голосом, методично перечисляя факты, которые он сам меньше всего хотел бы услышать вслух перед посторонними: что жена наверняка ждёт его дома, что дети, если они есть, наверняка уже привыкли не ждать отца трезвым, что вот такие вечера, вероятно, и есть причина, по которой всё в его жизни выглядит так, как выглядит, — и что даже сейчас, задыхаясь на грязной плитке у ног чужого парня вдвое моложе себя, он всё равно ничтожество, которым, кажется, был всегда. Я говорил это без злобы в голосе, почти буднично, — но каждое слово было нацелено точно, как удар в открытую точку, и мужчина, ещё

секунду назад агрессивный, обмяк окончательно, побледнел и, кое-как поднявшись, молча побрёл прочь, пошатываясь, не оглядываясь.

Надя стояла рядом всё это время и не произнесла ни слова, пока мы не отошли на квартал от магазина.

— Зачем ты это сделал? — спросила она наконец. — Ты мог просто оттащить его или сказать пару слов, чтобы он ушёл. Зачем было вот так... препарировать человека?

— Он это заслужил, — ответил я. — Я не соврал ни слова.

— Дело не в том, соврал ты или нет, Ники. — Она смотрела на меня внимательно, дольше, чем требовал обычный разговор, — пыталась разглядеть что-то за привычными чертами моего лица. — Дело в том, с каким удовольствием ты это делал. Я видела твои глаза. Тебе не было противно. Тебе было хорошо.

Я не нашёлся, что ответить, потому что она была права, и мы оба это знали. С того вечера что-то между нами едва заметно сместилось — она не отдалилась резко, продолжала быть рядом, помогать мне с делами, слушать про поставщиков и клиентов, оставалась опорой в самом практическом смысле слова, — но в её взгляде временами появлялась короткая тень настороженности: не покажется ли снова та тьма, которую она однажды увидела так отчётливо.

Она первая, при ком мой цинизм насчёт людей и женщин перестал казаться мне самому чем-то, чем стоит гордиться. Мораль она мне не читала — этим вообще не увле-

калась. Дело было в другом: рядом с ней моя привычная логика «не обещал, значит не виноват» начала звучать глупо даже в моей собственной голове, без её участия. Она умела вытаскивать меня из самых практических тупиков — однажды, когда крупный поставщик попытался задним числом пересмотреть условия контракта, пользуясь тем, что я был новичком в переговорах, она спокойно и методично разложила мне по пунктам, где меня разводят и как вежливо, но твёрдо это остановить, — и я сделал ровно так, как она сказала, и это сработало. Она была рядом на всех значимых точках того года: когда я в панике не спал ночь перед первой крупной оптовой закупкой, боясь просчитаться с объёмами; когда я, наоборот, слишком уверенно рискнул и почти прогорел на неудачной партии товара, испортившейся при доставке; когда мне нужно было просто выговориться после особенно тяжёлого дня и не получить в ответ ни одного совета — только молчаливое присутствие, которое иногда стоит дороже любого совета. Но каждый раз, когда во мне снова проступала та самая ледяная безжалостность — по отношению к нерадивому курьеру, к обманувшему меня контрагенту, к случайному хаму на парковке, — она смотрела на меня чуть дольше обычного, заново взвешивая, сколько во мне света и сколько тьмы, и явно не была до конца уверена в результате подсчёта.

Была и вещь похуже случайных вспышек — то, о чём я долго не рассказывал даже себе честно. Примерно на середи-

не наших отношений с Надей я допустил единственную настоящую измену. Не по пьяной случайности на чьём-то дне рождения — вполне сознательно, с расчётливым умыслом, за который потом сам себя же и судил. Алину я знал через общих ребят по залу — невысокую, гибкую, с длинными тёмными волосами, которые она вечно перекидывала через плечо характерным нервным движением, и с той манерой смотреть чуть снизу вверх, которая выдаёт человека, привыкшего добывать внимание, — в отличие от тех, кому оно достаётся просто так. Она уже с полгода откровенно на меня засматривалась, ловила поводы оказаться рядом, смеялась чуть громче, чем требовала шутка. Никаких чувств к ней я не испытывал — вообще никаких, ни капли. Мне хотелось проверить в себе одну вещь, о которой я не решался даже подумать рядом с Надей. Дело было не в жёстком, требовательном сексе — тут Надя не уступила бы никому, без всякого стеснения. Дело было в другом, гораздо более тёмном: в способности за одну ночь методично, словом и взглядом, вынуть из человека всё его достоинство и оставить его голым — только не телесно. Голым перед самим собой. С Надей это было невымыслимо в принципе. Слабее она не была — ровно наоборот: она раскусила бы меня на второй фразе и развернулась бы уходить. Алина — легла.

В ту ночь я взял её спокойно, без прелюдий. Она знала, что секс будет жёстким, но не думала насколько. Поначалу ей было больно, она попыталась остановить всё это, но, по-

няв, что силы не равны, в силу своего характера в итоге подчинилась. Я вошёл в неё, зная, что она в этой сцене — просто лёд, и весь разговор строил на одном: что она — вещь, никчемное создание, которое всего лишь добивалось моего внимания, и не более того. Что ж, получай. Руки у меня были запутаны в её волосах, лицо её я использовал как мочалку. В тот вечер слова «сучка» и «шлюха» я произнёс больше, чем за всю свою жизнь. После завершения она со слезами ушла и с тех пор избегала меня. Я не почувствовал ничего, что можно было бы назвать удовлетворением, — только холодное, почти лабораторное подтверждение того, что эта способность во мне действительно есть, и я умею ею пользоваться, когда захочу.

Надя узнала не по чужим слухам и не случайно — я рассказал ей сам — недели через две, поздним вечером, глядя куда-то мимо неё, в темноту за окном её квартиры, без всякого подготовительного разговора — просто продолжая мысль, которую вёл про себя уже давно.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила она тихо, помолчав.

— Потому что молчать было бы удобнее, — ответил я, — а мне надоело выбирать удобное, когда дело касается тебя.

Она не ушла в ту же секунду, не устроила сцену, которую, наверное, устроила бы на её месте почти любая другая. Помолчав ещё немного, она сказала, что не считает это изменой в том смысле, в каком это обычно понимают, — потому что

видела по мне же самому: та девушка была для меня просто оболочкой, на которой я поставил какой-то свой внутренний эксперимент, — никаких чувств я к ней не испытывал, и это было по мне видно. И добавила, уже жёстче, глядя мне прямо в глаза:

— Но я не хочу знать подробностей. Никогда больше. Мне достаточно того, что ты уже сказал, — дальше просто неприятно это слышать, и я не обязана это в себе носить только потому, что тебе так спокойнее.

Она не бросила меня в тот вечер. Но что-то в её взгляде с той ночи изменилось безвозвратно — прежде она смотрела на мою тьму как на что-то, с чем можно бороться вдвоём; после — как на нечто, что победить, возможно, вообще нельзя, и остаётся только терпеть, пока хватает сил.

За тем случаем последовали и другие, помельче, но такие же по сути. Однажды я уволил курьера, проработавшего на меня полгода, за одну-единственную просроченную партию — уволил показательно, при остальных, — необходимости в этом, по совести говоря, не было никакой; зато это разошлось по всей маленькой курьерской тусовке города и отбило у остальных всякое желание расслабляться. В другой раз, на переговорах с конкурентом, попытавшимся переманить моего крупного клиента, я узнал через общих знакомых о его личных проблемах — разводе, долгах — и хладнокровно использовал это как рычаг в разговоре, не испытывая ни малейшего неудобства. Надя не присутствовала при этом лич-

но, но слышала о обоих случаях от меня же — я сам, как ни странно, всегда рассказывал ей правду: похоже, мне попросту был нужен свидетель, который будет вести счёт.

Я так и не узнал наверняка, что происходило у неё внутри в те последние месяцы, — она никогда не устраивала сцен и не выкладывала мне список претензий по пунктам, — но позже, вспоминая обрывки её слов, её долгие молчания за ужином, то, как она иногда садилась на подоконник с чаем и просто смотрела в темноту за окном, я мог примерно восстановить, через что она проходила: взвешивание, снова и снова, одного и того же уравнения — та ли это тьма, с которой можно прожить жизнь, потому что она уравновешена достаточным количеством света, или это тьма, которая рано или поздно займёт собой всё пространство, если её вовремя не остановить. Она любила меня — в этом я не сомневался ни тогда, ни теперь, — и поэтому решение давалось ей настолько тяжело: уйти от человека, которого любишь, потому что боишься даже не его самого — того, во что он может превратиться, если рядом с ним слишком долго молчать.

* * *

Бизнес рос медленно, а потом — довольно резко, тем скачком, который в книгах по стартапам называют красивым словом «инфлексия», а на деле выглядит как полгода беспроектного, никем не замечаемого труда, за которым вдруг следует пара удачных месяцев подряд. Звучит вдохновляюще в презентациях. Ощущается как позвоночная грыжа. На-

чиналось всё с одного холодильника, взятого в аренду у знакомого, и таблицы в блокноте, куда я вручную вписывал заказы. К тому времени, когда я умер, у меня было три полноценных склада-холодильника в разных районах города, семь курьеров на подработке и оборот, который ещё год назад показался бы мне фантастикой.

Я применял к бизнесу ровно ту же дисциплину, что применял к телу, — без исключений, без выходных по настроению. Кофе по утрам в моём расписании не значился вовсе: утро начиналось с проверки остатков на складах, днём — переговоры с поставщиками, ночью — обработка новых заявок и разбор рекламаций, а всё это укладывалось между сменами в охране и тренировками, которые я не отменял ни при каких обстоятельствах, потому что знал: сорвёшься с графика в зале — сорвёшься и в делах, дисциплина не делится на отсеки, она либо есть целиком, либо её нет нигде. Спать в таком режиме, впрочем, тоже полагалось — просто где-то по остаточному принципу, между заявками и раундами.

Одна из первых по-настоящему крупных встреч, определивших дальнейший рост, случилась с владельцем небольшой сети фитнес-клубов — грузным мужчиной под пятьдесят с тяжёлым взглядом человека, привыкшего, что к нему приходят просить: предложить ему что-то отваживались немногие. Мы встретились в его кабинете, заставленном трофеями с давно забытых любительских турниров по пауэрлифтингу — каждый, судя по слою пыли, не протирали-

ся с тех пор, как его выиграла, — сам кабинет пах кожей нового дивана и чем-то сладковатым, вроде кальянного табака, въевшимся в стены за годы. Он смотрел на меня секунд десять молча, оценивающе, прежде чем заговорить.

— Сколько тебе лет, парень?

— Достаточно, чтобы не тратить ваше время на пустые разговоры, — ответил я. — У меня цены ниже, чем у ваших нынешних поставщиков, на восемь процентов, доставка день в день — не через два, — и я лично приеду разбираться, если хоть раз что-то пойдёт не так. Не потому что обязан по договору, а потому что мне невыгодно, чтобы вы искали кого-то ещё.

Он усмехнулся — коротко, почти одобрительно, — и подписал контракт в тот же день. С этого клиента, если честно, начался настоящий рост: следом за ним потянулись ещё два клуба из его же сети, потом — знакомые ему владельцы других залов, и я довольно быстро понял, что репутация в этом узком мире распространяется почти так же, как результаты на ринге, — молва идёт впереди тебя быстрее, чем ты успеваешь физически объехать всех клиентов сам. Спортивное питание было только началом — довольно быстро в номенклатуру добавились обычные продукты для небольших кафе и офисных кухонь, которым было проще заказывать у одного надёжного поставщика с ежедневной доставкой, чем распыляться на десяток разных, и к концу разгона доставка возила уже не только протеин и креатин — вообще всё, что можно

было привезти свежим и день в день.

Надя видела эту деловую, расчётливую сторону меня едва ли не чаще, чем ту тёплую, что показывала я ей самой, — видела, как я методично, без лишних эмоций дожимал невыгодные условия, как умел одной точной, спокойной фразой поставить на место наглого закупщика, пытавшегося занижить цену задним числом, как не спал сутками, разбирая логистику, но ни на ней, ни на курьерах не срывался — просто механически продолжал работать, пока проблема не решится. Иногда она сидела рядом со мной за ноутбуком до трёх ночи, помогая свести таблицу расходов, и в такие моменты между нами возникала та особая близость, что рождается больше из общего, разделённого на двоих труда, чем из романтики. Но чем больше рос бизнес, тем меньше в моём графике оставалось места для чего угодно, кроме зала и работы, — и тем чаще в глазах Нади читалось уже не восхищение моей упёртостью — усталое, тщательно скрываемое разочарование.

Разошлись мы не из-за скандала — хуже. Осенью, когда доставка уже прочно стояла на ногах, она попросила меня в выходной день просто посидеть с ней на кухне, без телефона, без ноутбука, — и я, помню, ещё тогда, идя на эту кухню, интуитивно понял по её лицу, что разговор будет не о графике.

— Дело не в том, что ты много работаешь, Ники, — сказала она, глядя куда-то в чашку с остывающим чаем, только не

на меня. — Я бы и с этим справилась, честно. Дело в другом.

— В чём тогда? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— В магазине. В той девушке, о которой ты мне сам рассказал. В курьере, которого ты уволил у всех на глазах, чтобы другим неповадно было. — Она наконец подняла взгляд, и в нём не было злости, только усталость, накопленная не за один день. — Я люблю тебя, дурак. По-настоящему. Именно поэтому мне страшно. Я смотрю на тебя и не знаю, сколько в тебе того человека, что сидел со мной три ночи над таблицами, а сколько — того, что я видела у входа в магазин с этим бедолагой на асфальте. И это соотношение, кажется, меняется не в мою пользу.

— Я не изменюсь по щелчку, — сказал я тогда, честно, потому что врать ей не имело смысла. — Но я стараюсь.

— Я знаю, что стараешься. — Она грустно улыбнулась, коротко, одними уголками губ. — Проблема в том, что я не уверена, возможно ли вообще то, к чему ты стараешься прийти. А жить рядом с человеком и постоянно бояться, каким он придёт домой сегодня, — я так больше не могу. Не хочу становиться человеком, который затаивает дыхание каждый раз, когда ты открываешь дверь.

Я не спорил, потому что спорить было не с чем — она видела меня насквозь точнее, чем я сам себя видел, и я это знал ещё до того, как она договорила. Мы расстались тихо, без крика, без хлопнувшей двери, что почему-то оказалось тяжелее, чем если бы был скандал: со скандалом хотя бы есть

на кого злиться. После неё я не стал добрее ко всем подряд — если что, стал ещё более закрытым, вложил в дело и в зал. Но я стал иначе взвешивать, чего стоит человек, который решил остаться рядом с тобой просто так, ничего с этого не поимев, — и от этого мой и без того невысокий счёт к людям в целом стал ещё жёстче: если такие, как она, встречаются так редко, зачем тратить время на всех остальных.

В тот вечер, когда всё закончилось, я поехал напрямик в зал, хотя расписания у меня не было, и попросил Палыча поставить меня хоть с кем-нибудь. Он поставил меня с Тимуром — тем же самым, что когда-то давно разбивал меня в одну калитку, — и в тот вечер я вкладывался в удары так, будто хотел через собственные кулаки вытрясти из себя что-то, что сидело гораздо глубже соперника. Тимур в какой-то момент, поймав жёсткий встречный, которого не ожидал, сплюнул кровь и попросил перерыв. Палыч, до этого молча наблюдавший с угла ринга, шагнул вперёд и остановил всё сам, схватив меня за плечо тяжёлой рукой.

— Хватит, — сказал он коротко, глядя мне прямо в глаза. — Сейчас ты не дерёшься — ты мстишь неизвестно кому. Иди домой, остынь и не возвращайся, пока снова не сможешь просто драться.

Я не пошёл домой. Я сел в машину и поехал за город, к реке, куда мы иногда ездили с Надей летом, — доехал уже затемно, оставил куртку на камнях и вошёл в воду в одежде, не раздумывая, потому что раздумывать в тот момент значило

бы дать себе шанс передумать. Вода была холодной, обжигающей, и я плыл — сильно, ровно, тем же кролем, которым плавал с детства, — всё дальше от берега, пока огни города на другом берегу не превратились в размытые пятна и руки не начали неметь от усталости и холода. В какой-то момент, посреди чёрной воды, под таким же чёрным небом, я перестал грести и повис на месте, чувствуя, как течение медленно тянет вниз, и подумал — спокойно, без паники, почти отстранённо, — что было бы легко взять и перестать двигаться. Что вода примет это как факт, без драмы, так же честно, как всегда принимало правду моё собственное тело. Надя была для меня настолько важна, что на секунду это действительно показалось не трагедией — просто логическим завершением уравнения.

Я не дал себе на это права. Испугался я меньше всего — на дне этой мысли было ясное, отрезвляющее понимание: сдаться сейчас значило бы предать даже не Надю и не себя самого — то единственное, во что я верил всю жизнь: что тело нужно доводить до конца, никогда не бросать на середине, каким бы тяжёлым ни был этот конец. Я перевернулся на спину, раскинул руки, позволил воде держать меня, и медленно, экономными гребками, вернулся к берегу — плавать, как и почти всё, за что я брался, я умел хорошо, и тело, вымотанное, но послушное, донесло меня обратно без единого сбоя.

Я лёг на траву, мокрый насквозь, чувствуя, как холод по-

степенно вытесняется теплом от пережитой нагрузки, и долго смотрел в небо, усыпанное звёздами настолько щедро, что вдалеке от городских огней оно казалось почти ненастоящим, нарисованным. Я думал не о Наде — вернее, не только о ней. Я думал о том, что всю жизнь гордился умением быть честным с собственным телом, но, кажется, ни разу толком не попробовал быть таким же честным с тем, что происходит у меня внутри головы, — с той тьмой, которую Надя видела так ясно, а я предпочитал не называть по имени, списывая на характер, на дисциплину, на что угодно, кроме того, чем оно являлось на самом деле. Я подумал, что, возможно, всю жизнь тренировал не то тело: мышцы легко поддаются, если работать с ними достаточно долго и честно, а вот то, что сидит глубже мышц, я, кажется, вообще никогда не пытался тренировать — только скрывать, обтёсывать по краям, выдавать за силу характера. Ответа я тогда не нашёл. Я просто лежал, пока звёзды не начали чуть заметно бледнеть перед рассветом. Тогда я встал, замёрзший и опустошённый, и поехал домой — не исцелённым, но, по крайней мере, живым, и это, на тот момент, было максимумом честности, на который я был способен.

К тому вечеру, когда всё закончилось на самом деле, я почти год жил один — плотный график, растущая доставка, зал, изредка Стас со своими чипсами как единственная постоянная компания. Я не был несчастен этим. Я был по-своему доволен — впервые за долгое время всё двигалось в моём

собственном темпе, без чужого недовольства моим темпом, хотя иногда, засыпая, я всё ещё ловил себя на мысли о той ночи в реке и о том, что так и не решил для себя уравнение, которое там пытался решить.

IV

В тот вечер я как раз возвращался с работы позже обычного — сдал смену, задержался, разбирая заказы по доставке, и вышел из бизнес-центра, когда город уже почти полностью потемнел, оставив только неровные пятна фонарей и синеватый отсвет вывесок. Где-то вдалеке недовольно просигналила машина, и звук утонул в обычном вечернем шуме города, не задержавшись ни на секунду. Настроение было хорошим, почти непривычно хорошим: заказов за неделю пришло больше, чем за весь прошлый месяц, и я шёл домой с редким для себя ощущением, что дальше будет только лучше, — независимость, ради которой годами терпел всё остальное, наконец перестала быть абстракцией. Хотя, оглядываясь назад, стоило бы насторожиться: жизнь особенно щедра на хорошее настроение перед тем, как сделать какую-нибудь гадость.

Я шёл через дворы, потому что так короче, мимо гаражей, чьи железные двери в темноте отливали ржавым, а дыхание уже подмерзало в воздухе, — и в паре домов от своего услышал голоса, резкие, слишком резкие для обычного разговора.

Их было четверо. Девушку — незнакомую, лет двадцати, в лёгкой куртке, которая явно не спасала от вечернего холода, — прижали к стене гаражей, и один уже держал её за руку

так, что понятно было без слов: это не флирт, который просто зашёл не туда.

Всё во мне сказала — иди дальше. Не твоё дело. Тело того не стоит. Ты годами придерживался этого правила не по лени — оно просто было рабочим. Работало это правило безотказно — ровно до сегодняшнего вечера, у которого, очевидно, были другие планы.

Я не обманывал себя мыслью, что должен вмешаться, что кто-то, если не я, — ничего такого благородного в голове не было. Была мысль куда проще и глупее: пронесёт. Как проносило почти всегда, все эти годы, стоило только показаться рядом человеку моей комплекции. Я прекрасно понимал, что расклад может пойти иначе, — просто в этот раз что-то тянуло меня вперёд сильнее, чем обычно тянуло назад, и я решил, что один раз, всего один, можно отступить от собственного правила, раз оно столько лет служило исправно.

Потом, много позже — если это «позже» вообще что-то будет значить, — я решил, что это было отцовское: то, что я в себе никогда не признавал и не тренировал — и что взяло и сработало само, без разрешения.

— Отпусти её, — сказал я. Спокойно, без угрозы в голосе — просто утверждение факта, как говорят о том, что дверь открывается не в ту сторону.

Они обернулись — четверо, и по глазам сразу читалось: пьяные, злые, не готовые сдавать назад перед одним человеком, будь он хоть какой высокий. Тот, что держал девушку,

отпустил её руку, но не для того, чтобы разойтись миром.

— Иди своей дорогой, — сказал он.

Я мог. У меня было ровно столько времени, сколько нужно, чтобы развернуться и уйти, и никто бы меня не остановил. Вместо этого я сказал ей — тихо, глядя только на неё, не на них:

— Иди. Сейчас.

Она не сдвинулась с места — слишком испугана, чтобы соображать. И это была последняя секунда, в которую всё ещё можно было закончить словами.

V

Один из них толкнул меня в грудь — не сильно, скорее чтобы посмотреть на реакцию. Я не думал. Тело среагировало раньше, чем голова успела бы что-то взвесить, — прямой в челюсть, точный, без замаха, вложенный так, как вкладываешь удар после десяти тысяч повторений одного и того же движения. Он рухнул мешком, без единого лишнего движения, так падает тело, у которого разом отключились все мышцы: не картинно, не как в кино — просто некрасиво, коленями вперёд, лицом в асфальт.

Второй бросился следом, и в этот момент что-то в голове действительно щёлкнуло. Не паника — абсолютная, почти пугающая ясность, которую я знал только по лучшим спаррингам: боевой транс, где время немного растягивается, а руки работают сами, без команд. Второй улёгся рядом с первым секунды через три, так же некрасиво, так же тяжело.

Третий не полез в ближний бой. Он отступил на шаг, сунул руку под куртку — и я успел увидеть пистолет за долю секунды до того, как понял, что происходящее вообще не про кулаки.

Выстрел прозвучал глуше, чем я представлял по фильмам. Просто тупой толчок в грудь, а звук пришёл отдельно, с крошечной задержкой, как гром после далёкой молнии. В воздухе резко запахло чем-то горячим и металлическим —

не сразу понял, что это порох.

Ноги подкосились не сразу — сначала ушла опора в одном колене, потом в другом, и я осел вниз медленнее, чем должен был бы падать человек с дыркой в груди, — тело до последнего пыталось сохранить равновесие каким-то заученным, автоматическим рефлексом, которому было плевать, что происходит внутри. Я сел на асфальт, потом завалился на бок, и холод камня под щекой оказался единственным ощущением, которое пробилось сквозь всё остальное отчётливо и ясно. Где-то за гаражами лениво твякнула собака — город продолжал жить своим обычным вечером, как ни в чём не бывало.

В эти несколько секунд у меня в голове пронеслась во-все не вся жизнь, как обещают истории, — одна конкретная, очень трезвая мысль: я ведь прекрасно знал, зачем это сделал. Не обманывал себя, не убеждал, что это подвиг. Просто в какой-то момент решил, что один раз можно поверить, что пронесёт, — и не пронесло.

Ирония была настолько ровной, что даже не хотелось злиться. Отец, который бы, наверное, меня понял. Надя, которая сказала бы, что я опять всё делаю по-своему, даже умираю. Стас с его чипсами, который завтра выйдет на смену и будет спрашивать, куда я делся. Доставка, которая только-только начала приносить настоящие деньги — не просто цифры на бумаге. Годы зала, годы разобранного по граммам питания, годы холодного расчёта, который столько лет берёт меня для того, чтобы один раз, один-единственный, я его на-

рушил — и против этого разом встал кусок металла, летящий быстрее любой реакции, быстрее любой дисциплины, быстрее всего, чем я гордился.

Тело сказало правду в последний раз — и в этот раз от неё не было никакого толку. Оно просто честно сообщило, что заканчивается, без права на подготовку, без права на тренировку, без права всё исправить, как я исправлял всё остальное годами. Разговор, который я вёл с ним каждый день столько лет, оборвался на середине слова — посреди двора, между гаражами, в паре сотен метров от дома, куда я так и не дошёл.

* * *

Дальше была темнота — и никакой драмы, никакого кино: просто отсутствие всего, включая ощущение, что что-то отсутствует. Потом пришло что-то, что не было ни светом, ни раем, ни вообще чем-то описуемым словами. Пришла мысль. Первая, до всякого тела, до всякого «я»:

Это мозг. Это последняя вспышка перед тем, как всё выключится совсем — та самая городская легенда про «вся жизнь пронеслась перед глазами», просто растянутая на подольше, потому что мозгу больше нечем заняться перед тем, как погаснуть окончательно.

Мысль показалась разумной ровно до тех пор, пока не начала тянуться дольше, чем должна была бы длиться любая предсмертная вспышка.

Ладно. Тогда это сон.

Но сны не пахнут землёй. А это — пахло. Сырой, стылой, совершенно реальной землёй, которая с каждой секундой становилась всё настойчивее, забивая собой всё остальное, пока я не понял с абсолютной, злой ясностью, что ни то, ни другое объяснение не годится.

Да что за хрень тут вообще происходит.

И только после этой мысли — самой честной из всех — я наконец открыл глаза.

Глава 2

Тело, которое не моё

I

Глаза открылись, и первое, что я увидел, было небо — не то, привычное, серое городское небо с размытым заревом фонарей снизу, а чёрное, густое, усыпанное звёздами настолько плотно, что между ними почти не оставалось темноты: сама темнота служила фоном для света. Кроны деревьев обступали это небо неровным кольцом, чёрные на чёрном, и где-то очень высоко ветер тревожил верхушки — ровный, сухой шелест, ни на что не похожий, потому что в городе я никогда не слышал леса без примеси машин, музыки, чужих голосов где-то фоном.

Земля подо мной была холодной, влажной, слежавшейся — настоящая земля, живая, пружинящая под лопатками, пахнущая прелой листвой и чем-то ещё, сырым и минеральным: где-то поблизости явно была вода. Холод уже забирался под лопатки, тянул неметь кожу — первое, что тело почувствовало по-настоящему остро. В моей прежней жизни спина обычно касалась в лучшем случае асфальта или плит-

ки у входа в магазин. Этот запах, который несколькими секундами раньше — или годом раньше, я уже не был уверен, что означает «раньше», — убедил меня, что это не сон. Сны так не пахнут. У снов вообще нет запаха, если задуматься, — только у меня хватило самообладания задуматься об этом уже после того, как перестал биться о собственную же панику.

Первым делом — раньше, чем успел додумать хоть одну связную мысль про лес, про звёзды, про невозможность происходящего, — рука сама пошла к груди. Так поступает тело, которое помнит боль лучше, чем голова помнит слова: ищет рану. Пальцы прошли по груди, по рёбрам, надавили — и не нашли ничего. Ни дыры, ни крови, ни рваной, стянутой кожи вокруг входного отверстия, ни малейшей отметины там, где несколько секунд-часов-лет назад в меня вошёл кусок металла, оборвавший разговор, который я вёл с собственным телом столько лет. Кожа была гладкой, тёплой, целой — до отвращения целой, будто выстрела вообще не было.

Только тело было не моё.

Я понял это постепенно, по частям — так обычно и узнают о чём-то плохом, потому что психика сама дробит удар, чтобы не рухнуть сразу целиком. Сначала я зацепился взглядом за прядь волос, упавшую на лицо, когда я приподнялся на локтях, — длинных, ниже плеч, спутанных со сна, — и на секунду даже не придал этому значения, потому что волосы

у меня и в старой жизни были такими же: я отрастил их ещё в институте и с тех пор не стриг, хотя Палыч за все эти годы так и не упустил случая проворчать, что лишняя прядь в клинче — удобная зацепка для чужой перчатки и повод на секунду отвлечься там, где эта секунда стоит пропущенного удара. Я его вежливо игнорировал: без этих волос я попросту не узнавал себя в зеркале, а тщеславие, как выяснилось ещё тогда, било здравый смысл без вариантов — пожалуй, единственная область моей жизни, где я вёл себя как идиот совершенно осознанно. Сейчас, среди всего чужого, эта прядь оказалась единственной деталью, которая совпадала с тем, что я помнил, — и от этого на секунду даже полегчало.

Потом — руки. Я поднёс их к лицу, насколько позволял свет звёзд, и не узнал костяшки. У меня были костяшки боксёра — специфически сбитые, с застарелыми мозолями там, где привыкла ложиться перчатка, с той характерной, чуть смещённой формой суставов указательного и среднего пальцев, которую наработал не один год спаррингов. У этих рук костяшки были ровными. Целыми. Не тронутыми ни единым ударом за всю их жизнь — и при этом сильными, жилистыми, с той же плотностью мышц под кожей предплечья, которую я всегда узнавал в себе с закрытыми глазами, просто сжав кулак.

Тело было моего роста. Моей комплекции — той же поджарой, собранной массы, тех же пропорций между плечами и бёдрами, той же общей архитектуры, которую я строил го-

дами настолько целенаправленно, что узнал бы её вслепую, по одной только тяжести, с которой оно садилось и вставало. Но это было не моё тело. Чужое лицо — я понял это, проведя ладонью по скулам, по носу, по челюсти: другая форма, другой рельеф костей под кожей, шрам над бровью, которого никогда не было, и ещё один, тонкий, на подбородке — отметины без единой истории за ними: ни воспоминания, ни ниточки, за которую можно было бы потянуть. Драки, которые должны были их оставить, для меня просто не случились.

Ощущение было настолько дурацким по своей формулировке, что я чуть не рассмеялся вслух, лёжа один посреди какого-то леса под чужим небом: моё тело украли и заменили на копию, снятую с правильных чертежей, но собранную из чужих деталей.

II

Тело врать не будет — это было единственное, во что я верил по-настоящему, и вот теперь оно врало мне так масштабно, так откровенно, что верить вообще стало не во что. Я сел, обхватил колени руками — чужими руками, на чужих коленях, — и заставил себя пройти по всем версиям происходящего так же методично, как раскладывал когда-то любую проблему с поставками: по пунктам, без эмоций, начиная с самого вероятного и заканчивая самым бредовым.

Версия первая: это агония. Мозг без кислорода ещё несколько минут генерирует образы, достраивает нарратив из последних доступных данных, чтобы как-то закрыть историю красиво, — та самая городская легенда про «вся жизнь пронеслась перед глазами», просто растянутая на подольше, потому что мозгу больше нечем заняться перед тем, как выключиться. Я проверил это единственным доступным способом: ущипнул себя за предплечье, сильно, до синяка — метод родом скорее из детсада, чем из серьёзной методологии проверки гипотез, но другого под рукой не нашлось. Больно было ровно так, как должно быть больно, — остро, конкретно, с полным набором нервных окончаний, докладывающих об этом честно и подробно. Агония так не работает. Агония смазывает детали, а не выдаёт их с разрешением, в котором я мог различить отдельные травинки под пальцами и запах

прелой листвы двух разных пород деревьев.

Версия вторая: сон. Тоже быстро развалилась — и не из-за боли, боль снится не хуже, чем наяву. Дело было в банальной непрерывности: во сне ты не задаёшься вопросом, сон ли это, с такой дотошностью, не выстраиваешь логическую цепочку из трёх последовательных гипотез. Сон путает причину и следствие, а я сидел здесь и методично, пункт за пунктом, эти причины и следствия выстраивал — и само это выстраивание было слишком связным, слишком похожим на мою собственную голову, чтобы быть чужим сновидением обо мне.

Оставалась третья версия, которую я откладывал напоследок, потому что она не лезла ни в одну знакомую мне систему координат: это реально. Что бы это ни означало, чем бы это ни было — новым телом, новым местом, новой физикой происходящего, — оно было реальным ровно в том же смысле, в каком было реальным всё, что случалось со мной последние двадцать пять лет. «Почему» ничего не решало прямо сейчас. Решало «что дальше» — доживу ли я до момента, когда «почему» вообще станет актуальным.

Я не был из тех, кто умеет долго существовать в панике. Паника — это роскошь, которую тело позволяет себе, когда ещё не решило выживать. Я решил почти сразу, ещё сидя на этой чужой, влажной земле: подробности выясню потом. Сначала — задача. Задача была простой и знакомой до странного, почти комичного дежавю: ночь, незнакомая

территория, ноль информации, тело, в котором нужно разобраться на ходу.

III

Я встал.

Ноги держали — не идеально, чуть заплетаясь, как всегда после долгого лежания, но держали, и это было первое, за что я мысленно зацепился с почти облегчением: моторика работала. Я сделал несколько шагов, привычно, автоматически проверяя баланс так, как проверял его тысячи раз перед спаррингом — перенос веса с пятки на носок, лёгкий полуповорот корпуса, — и тело ответило с той же готовностью, с той же слаженностью между намерением и движением, к которой я привык в собственном теле. Мышечная память, судя по всему, жила глубже, чем в мышцах, — в чём-то, что переехало вместе со мной, чем бы оно ни было.

Я согнул руки в локтях, напряг плечи, скрутил корпус в холостом, без цели, боевом движении — просто чтобы почувствовать амплитуду, — и тело откликнулось резко, чётко, с той плотностью, которую я всегда искал в себе и годами нарабатывал: ни рыхлости, ни запаздывания между сигналом и ответом. Такую слаженность за одну ночь не наработать. Разбираться, как именно она сюда попала, я решил позже — сейчас гораздо важнее было то, что тело просто работало.

Одежда на мне была простой, грубой на ощупь — что-то вроде домотканой рубахи и штанов, подпоясанных верёвкой, ткань плотная, слегка колючая изнутри, явно не фабрично-

го плетения. Обувки не было — ступни голые, мозоли на них красноречиво подсказывали: так тут ходят постоянно, не ради закалки по выходным. Ни телефона, ни ключей, ни единого предмета, который выдавал бы мою прежнюю жизнь, — только тело, ткань и лес.

Я запрокинул голову, ища в кронах хоть какую-то прореху, через которую можно было бы оценить положение звёзд относительно горизонта, — привычка, оставшаяся от самой обычной, многолетней дисциплины контролировать всё, что в принципе поддаётся контролю; специального обучения выживанию у меня никогда не было. Определить стороны света с одной попытки не вышло — звёздное небо было незнакомым, ни одного созвездия, которое я узнал бы с уверенностью: похоже, вместе с телом мне подменили и небо над головой — тоже чужое, тоже снятое не с тех чертежей. Это не так сильно выбило меня из колеи, как могло бы: неизвестное небо было просто ещё одной вводной; я не собирался из-за него снова садиться на землю и по новой считать пункты.

Дышал лес ровно, спокойно, без той настороженной тишины, которая обычно означает, что рядом хищник, — где-то далеко ухала птица, тонко и коротко, короткими паузами звенели насекомые, и это меня, как ни странно, немного успокоило: живой лес звучит так — и уже одно это означало, что здесь есть своя логика, пусть я пока и не знаю её правил.

Куда важнее было найти воду, чем понять, где я нахожусь, — с ней можно было хотя бы попытаться идти на звук или на

понижение рельефа, а без неё любой план терял смысл в течение суток. Я постоял ещё немного, вслушиваясь, отсекая шум ветра в кронах от того, что могло быть журчанием, — и мне почудился, очень далеко, справа, едва уловимый ровный шум, слишком постоянный для ветра. Возможно, показалось. Возможно, нет. Проверить это можно было только одним способом.

Я сделал первый шаг — привычно, без раздумий, с той же лёгкостью, с которой годами делал первый шаг к груше, — и лес принял меня молча.

IV

Идти босиком по ночному лесу требовало совсем не той выносливости, к которой я привык, — здесь решали рефлекс: каждый шаг надо было считать за долю секунды до того, как на него встанет вес — корень, камень, участок, где палая листва подозрительно проседает под ступнёй, обещая яму или нору под собой. Первые минут десять я то и дело сбивался, наступал не туда, один раз оступился на скрытом под листьями склоне и ободрал плечо о кору — ссадина сразу отозвалась жжением, — но тело училось быстро, заметно быстрее, чем должно было бы учиться тело, впервые в жизни идущее по лесу босиком. Объяснять это себе прямо сейчас я не стал — просто взял на заметку, как брал на заметку любую нестыковку в цифрах поставщика, прежде чем разбираться, кто врёт. Через четверть часа я уже двигался почти бесшумно, находя опору интуитивно, не думая, — так, как я когда-то, годами позже после первых спаррингов, перестал думать про постановку ног и просто ставил их правильно, потому что тело само знало.

Шум, который я принял за воду, не пропадал и не приближался с той скоростью, на какую я рассчитывал, — лес обманывал расстояния через плотность деревьев и то и дело сбивал направление, заставляя огибать буреломы, откуда явно раздавался тот же звук, но заметно левее, чем секунду

назад. Я держался за один-единственный принцип, который в своё время вбил в меня Палыч применительно к боям, а не к лесу, но работавший, кажется, универсально: план может сбоить сколько угодно, тревога начинается только тогда, когда сбой не заметил. Я не заметил ничего, что говорило бы о реальной опасности, — только усталость, которая тяжелела с каждой сотней метров сильнее, чем должна была бы тяжелесть в теле такой очевидной подготовки.

Голод пришёл раньше, чем я ожидал, — резкий, сосущий. Я отметил это как факт, не как повод для тревоги: значит, часы, не дни. Организм, если бы голодал сутками, вёл бы себя иначе — сильнее кружилась бы голова, руки бы подрагивали заметнее. Пока это было терпимо, обычное чувство после пропущенного приёма пищи, знакомое по любой утренней тренировке натошак.

Деревья постепенно менялись — там, где я очнулся, лес был смешанным, с подлеском и папоротником по колено, а чем дальше я шёл на звук, тем реже становился подлесок и выше — стволы.

Шум воды я услышал по-настоящему, без сомнений, минут через сорок — тяжёлый, ровный гул, слишком весомый для обычного ручья, идущего по камням: похоже, где-то впереди вода собиралась в чём-то заметно большем. Ещё через несколько минут деревья расступились, и я вышел на открытый берег.

V

Река была неширокой, но быстрой — чёрная, с редкими бликами звёздного света на ряби, она шла плотным, деловитым потоком, не позволяя себе ни одного ленивого участка со стоячей водой. Берег здесь был каменистым, ровным настолько, что казался нарочно расчищенным, хотя, скорее всего, это просто была работа самого течения за какое-то количество лет, которое я даже не пытался прикинуть.

Я опустился на колени у самой кромки, зачерпнул воду ладонями и напился — жадно, не заботясь о вкусе, — холодная до ломоты в зубах, с лёгким привкусом камня и глины, но чистая, без того металлического или химического послевкусия, обычного для городской воды из-под крана. Тело благодарно отреагировало почти сразу — та же смутная слабость, что копилась последний час, немного отступила.

Только напившись, я наконец позволил себе то, что откладывал с самого пробуждения: посмотрел вниз, на воду, там, где течение на миг замедлялось у самого берега, оставляя относительно ровную, почти зеркальную полосу.

Лицо оттуда смотрело незнакомое.

Я и раньше знал это на ощупь — под пальцами, — но знать под пальцами и увидеть глазами оказалось разными вещами. Черты были резче, чем мои собственные, скулы выше, подбородок острее, прямой нос, ничем не похожий на мой, — не

уродливое лицо, даже по-своему располагающее, если бы не было настолько демонстративно чужим. Глаза, впрочем, показались мне тёмными в этом скудном свете настолько, что я не смог различить их настоящий цвет, — только форму: чуть более узкую, более настороженную, чем у меня. Тот тонкий шрам на подбородке, который я нащупал ещё в лесу, при свете воды читался ясно — старый, зажившей давно, ровный порез, слишком аккуратный для раны от когтя или клыка — больше похоже на удар лезвием, нанесённый под определённым углом человеком, который знал, что делает.

Я долго сидел так, разглядывая себя-не-себя, и ловил в этом странное, почти клиническое любопытство вместо ужаса, которого, по всем законам жанра, должен был бы испытывать гораздо больше. Наверное, дело было в том же принципе, на котором держалась вся моя прежняя жизнь: тело — это данность, с которой работаешь; истерика тут ни при чём. Просто на этот раз данность оказалась радикальнее, чем когда-либо: дисциплиной такую форму было не восстановить — совсем другой набор костей и кожи, доставшийся мне без права выбора.

Длинные волосы — та единственная деталь, что совпадала, — спускались чуть ниже плеч, тёмные, почти чёрные в воде, и я зачем-то, безо всякой практической причины, привычным, автоматическим движением отвёл их с лица — тем же, что и годами раньше. Тело узнало это движение так же легко, как узнало баланс и разворот корпуса. Хоть что-то в

этой геометрии осталось моим.

VI

Сидеть на месте было бессмысленно — холод от мокрых камней уже начинал забираться под тонкую ткань рубахи, а решить хоть что-то из главных вопросов — где я, куда идти, есть ли здесь вообще люди — сидя у воды я не мог. Река, по крайней мере, давала логику: вода почти всегда рано или поздно выводит к людям, потому что люди почти всегда селятся у воды — самая обычная география, применимая что здесь, что дома, никакой магии и удачи.

Я решил идти вниз по течению — и с этим первым по-настоящему стратегическим решением в новом теле поднялся с колен, размял затёкшие от долгой ходьбы икры и двинулся вдоль берега, держась там, где камни были не такими скользкими.

Идти вдоль воды оказалось легче, чем сквозь чащу, — берег давал хоть какую-то опору для ориентации, ровный, предсказуемый ритм шагов, и я позволил мыслям впервые за эту ночь немного отвлечься от чистого выживания. Тело, чужое лицо, длинные волосы, отсутствие раны, звёздное небо без единого узнаваемого созвездия — я механически перебирал эти факты и просто складывал их в память, как когда-то складывал цифры по закупкам, — без попытки тут же объяснить всё разом, единой теорией: пригодится позже, разбираться будем по мере поступления данных.

Именно тогда, шагов через триста вдоль берега, я и увидел первое, что не укладывалось ни в одну версию про «просто незнакомый лес».

На плоском камне у самой кромки воды, там, где течение почти не доставало, лежал круг: ровная, с циркульной точностью прочерченная линия, выжженная прямо в камне, чёрная там, где камень должен был оставаться серым, — ничего похожего на естественный узор из мха или наносов. Внутри круга — линии, слишком правильные для трещин, сходящиеся к центру под равными углами, как спицы в колесе.

Я остановился.

Что бы это ни было, лес и до этого не производил впечатления места, где я один такой странный.

VII

Я присел на корточки рядом, не касаясь камня сразу, — та же осторожность, с какой не лезешь голыми руками в незнакомый механизм, пока не понял, включён он или нет. Круг был выжжен ровно, без единого потёка, — обычный костёр так не умеет: получается только у раскалённого лезвия, проведённого по камню за один точный, уверенный проход. Линии внутри, те самые «спицы», сходились не в идеальной точке — в маленьком, чуть более глубоком углублении размером с ноготь, гладком, отполированном то ли временем, то ли чем-то, что в нём когда-то стояло.

Я вытянул руку и, помедлив секунду, коснулся выжженной линии кончиками пальцев.

Ничего не произошло — ни искры, ни тепла, ни того ощущения гудения под кожей, которое я, наверное, где-то на самом дне подсознания ожидал после всего, что уже случилось за эту ночь. Камень. Прохладный, шершавый там, где выжжена линия, чуть более гладкий там, где её нет. Я выдохнул — скорее констатируя факт, чем испытывая облегчение: магии по крайней мере руками не потрогать, что уже было хоть какой-то информацией.

Отсутствие реакции не означало отсутствие смысла. Я обошёл камень по кругу, разглядывая рисунок под разными углами, — и чем дольше смотрел, тем яснее видел то, что

сперва принял просто за «спицы»: линии были не одинаковой длины, три короче, три длиннее, и от каждой длинной ответвлялся ещё один короткий отрезок под одним и тем же углом. Случайность так не работает. Трещины, наносы, эрозия — никогда не дают шестикратной симметрии с точностью до градуса. Это было сделано — кем-то, кто умел это делать и явно делал это не один раз.

Я подумал о своём старом мире, о татуировках, которые набивают в первую очередь как метку — принадлежности, статуса, памяти, а красота там дело десятое. Может быть, смысл был похожим — обычный знак, который люди оставили на важном для них месте по причинам, которые мне ещё предстояло узнать. А может — предупреждение. Или граница. Я не мог знать, и в отсутствие знания разумнее было отнестись к находке настороженно, придерживав любопытство, — правило, которое одинаково хорошо работало что на ринге против незнакомого соперника, что здесь, у ночной реки, против незнакомого мира.

Я поднялся, отряхнул колени и ещё раз обвёл взглядом берег — не только сам камень, но и то, что вокруг него. Трава у самой кромки воды была вытоптана широкой плотной проплешиной, слишком основательной для одного случайного прохожего: здесь явно бывали не раз и не в одиночку. Кто-то приходил сюда регулярно. Возможно, до сих пор приходит.

Это меняло расклад: если место посещаемое, то моя стратегия «идти вниз по течению до первых признаков людей» из

абстрактной становилась вполне конкретной — люди, скорее всего, были не так далеко. Вопрос был только один, и я задал его себе так же прямо, как задавал бы любому потенциальному клиенту в переговорах: стоит ли мне встречаться с ними сейчас, ночью, без единого представления о том, что здесь считается нормальным, а что — поводом убить чужака на месте.

Ответ пришёл быстро, и он был неприятно однозначным: между «встретиться подготовленным» и «встретиться неподготовленным» выбирать не приходилось — такой возможности попросту не было. Оставался только выбор между «встретиться сейчас, уставшим и голодным» и «встретиться утром, отдохнувшим, но ещё более голодным». Прятаться в лесу неопределённо долго я не мог — ни знаний, ни снаряжения для этого не было, и тело, при всей своей очевидной физической подготовке, всё равно нуждалось в еде и отдыхе, которых лес пока не предложил.

VIII

Я отошёл от камня и от воды — подальше вглубь леса, туда, где деревья стояли гуще и хоть немного скрадывали открытое пространство берега, — и на глаз выбрал место между двумя стволами, достаточно широкими, чтобы прикрыть спину хотя бы с двух сторон. Не идеальное укрытие, но лучшее, что я мог организовать без ножа, верёвки и времени на что-то более серьёзное.

Устроиться на голой земле, поджав колени к груди, спиной к стволу — это было настолько узнаваемым положением, что на секунду меня пробило что-то похожее на смех: сколько раз в старой жизни я засыпал в похожей позе на скамейке раздевалки после особенно выматывающей тренировки, слишком уставший, чтобы дойти до дома, но слишком дисциплинированный, чтобы пропустить следующее утро. Спортивная дисциплина и бытовая упёртость, видимо, всегда сидели в одной и той же голове и полагались друг на друга — вывод, который я сделал ещё в институте и с тех пор ни разу не пересмотрел. Тело помнило эту усталость лучше, чем помнило что-либо другое за последние несколько часов, — и, кажется, решила это не логика и не воля, а обычная, тяжёлая усталость: организм в какой-то момент просто перестал спрашивать разрешения.

Последней мыслью, ещё на грани, была не про камень с

выжженным кругом, не про чужое лицо в воде и даже не про Надю и отца, о которых я неожиданно вспомнил в последнюю секунду перед выстрелом. Последней мыслью было простое, почти механическое наблюдение, оставшееся от старой жизни, которое я поставил бы в конец любого отчёта о проделанной работе: план выполнен процентов на десять, данных мало, риски не оценены, но тело цело и на ногах — на сегодня достаточно.

Я закрыл глаза во второй раз за эту невозможную ночь.

IX

Проснулся я от света — серого, рассветного, просачивающегося сквозь кроны неровными пятнами, — и от холода, который за ночь добрался до костей глубже, чем я готов был признать. Тело затекло так, как затекает после сна на голой земле без движения: плечи каменные, шея не поворачивается без хруста, а изо рта при каждом выдохе шёл пар, — но при этом ни следа той обычной утренней вялости, которую я помнил по своей прежней жизни, — организм явно привык просыпаться сразу в рабочее состояние, без раскочки, и я мысленно порадовался хотя бы этой детали.

При свете лес оказался гораздо менее пугающим, чем ночью, и значительно более обыкновенным: обычные сосны и что-то похожее на дубы вперемешку, мох на северной стороне стволов — старое правило, которое я где-то читал или слышал краем уха и теперь неожиданно пригодились, — подлесок, полный птичьего шума, совсем не того зловещего безмолвия, которого подсознательно ждёшь от «фэнтезийного леса». Река всё так же шла рядом, посветлевшая, прозрачная там, где ночью казалась чёрной, и в утреннем свете камень с выжженным кругом выглядел заметно менее мистическим и намного более рукотворным — обычная плита, обычный узор, вопрос лишь в том, кто и зачем его вырезал.

Есть хотелось сильнее, чем ночью, но паниковать по это-

му поводу было рано — тело держалось, голова работала ясно, и я решил, что лучшее применение утренним силам — снова двинуться вниз по течению, туда же, куда шёл ночью, просто теперь при свете и с открытыми глазами в буквальном смысле.

Шёл я около часа, держась берега там, где это было возможно, и срезая через лес там, где река делала слишком крутые петли. Голод постепенно перестал быть фоном и стал требовать внимания — я дважды останавливался у кустов с ягодами, неизвестными мне ни по виду, ни по вкусу, и оба раза заставлял себя пройти мимо: неизвестное растение в незнакомом мире — чистая лотерея, а я не играл в лотереи даже дома, где хотя бы знал правила.

Первый явный признак людей до меня донёс запах: тонкая, едва уловимая нить дыма, вплетённая в утренний воздух там, где её быть не должно, если бы лес был по-настоящему пустым. Запах гари — слишком локальный и слабый для настоящего лесного пожара, похоже, обычный очаг, костёр, за которым кто-то следит. Я остановился, поднял голову, принялся ещё раз, определяя направление: чуть левее от линии реки, за деревьями, откуда-то с возвышенности.

Сердце, что научилось не дёргаться перед выходом на ринг против незнакомого соперника, — забилося чуть быстрее, но не от страха. От того же чувства, что охватывало меня перед каждым серьёзным спаррингом: наконец что-то происходит, наконец есть с чем работать, а не просто ждать

неизвестности.

Я свернул с берега на запах дыма.

X

Лес здесь снова густел, подлесок поднимался выше колена, и мне пришлось замедлиться: дело было не в усталости — каждый шаг теперь имело смысл держать под контролем, я не знал, кто разжёт этот костёр и как встречает незнакомцев. Я обходил особенно сухие ветки, ступал по мху там, где он был, и старался держаться линии, с которой запах гари ощущался ровно, не давая себе сбиться в сторону.

Подъём вывел меня на небольшую возвышенность, поросшую соснами реже, чем остальной лес, — и там, сквозь стволы, я наконец увидел источник дыма: не костёр под открытым небом и не пожар — низкое, вросшее в склон строение, то ли землянка, то ли изба, наполовину вкопанная в холм, с дымником* вместо трубы, из которого и тянулась та самая тонкая нить, что я почуял внизу. Стены — грубый, потемневший от времени сруб, крыша — дёрн вперемешку с ветками, настолько плотно сросшийся с окружающим лесом, что, не будь дыма, я мог бы пройти в десяти шагах и не заметить жильё вовсе.

Рядом с землянкой, на утоптанном пяточке земли, было хозяйство: врытая в землю бочка, вешала с растянутыми шкурами, сохнувшими на утреннем воздухе, аккуратно сложенные дрова, прикрытые от дождя корой. Всё было сделано на совесть, без единой небрежности, — рука человека,

который живёт здесь не первый год и не собирается никуда уходить.

Самого хозяина я увидел не сразу — он вышел из-за угла землянки с охапкой хвороста, и я замер на месте, прежде чем успел додумать, стоило ли замирать или, наоборот, обозначить своё присутствие сразу, пока меня не приняли за того, кто подкрадывается.

Мужчина был немолод — седая, коротко остриженная борода, лицо, продублённое ветром и годами настолько, что возраст читался больше по повадке, чем по чертам, — а сам двигался экономно, выверенно, как человек, который давно разучился тратить силы впустую: в этих движениях годы читались меньше всего. Одет он был примерно так же, как я, — грубая ткань, кожаный жилет поверх, — но за поясом у него висел нож с широким лезвием, а у входа в землянку, прислонённое к стене, стояло копьё с потемневшим от частого использования наконечником — явно не для красоты выставленное.

Он остановился так же резко, как я, — ни вздрогнув, ни выронив хворост, просто замер, оценивая, — и я понял по этому движению, до странного узнаваемому: передо мной не случайный человек, испугавшийся чужака в лесу. Передо мной был тот, кто много раз оказывался в подобной ситуации раньше и знает, как в ней себя вести.

Несколько долгих секунд мы просто смотрели друг на друга через утоптаный пятачок земли — я, босой, в чужом те-

ле, с чужим лицом и без единого объяснения, откуда взялся; он, с охапкой хвороста в руках, взглядом уже нашедший расстояние до копья у стены. Даже лес, казалось, затаился в ожидании, кто заговорит первым.

Первым заговорил он.

* * *

* Дымник — отверстие в крыше или примитивная труба для выхода дыма из очага, без настоящей печной трубы.

Глава 3

Горазд

I

— Ты откуда взялся, — сказал он. Не вопрос — сухая констатация факта, произнесённая тем ровным тоном, что идёт в ход, когда на глаз прикидывают вес добычи. Хворост он так и держал в руках, но я заметил, как сместился вес его тела — на полшага ближе к стене, где стояло копьё, без всякой суеты, просто на всякий случай. Босые ступни стыли на влажной земле — простое, честное ощущение, за которое хотелось цепляться, пока голова пыталась осознать всё остальное.

Голос его прозвучал ясно, каждое слово я понял без малейшего усилия — и поэтому потребовалась секунда, чтобы до меня дошло, насколько это неправильно. Он говорил не на моём родном языке. Не на каком-либо языке, который я мог бы опознать по старой жизни, — и тем не менее я понимал каждое слово так, как понимают родной язык с рождения, без малейшего зазора между звуком и смыслом. Я попробовал, просто чтобы проверить себя, — мысленно составить фразу на родном языке, услышать не только её смысл, но и живое звучание, — и не смог. Смысл был на месте, а самого звучания родного языка не находилось вовсе: эту часть памяти вырезали, кажется, так же аккуратно, как заменили

тело. Что за чёрт. Разбираться с этим было не время — передо мной стоял человек с копьём в шаге от руки, и это было важнее любой лингвистики.

— Не знаю, — сказал я честно. Врать не было ни смысла, ни материала для лжи — я и сам не мог предложить более убедительной версии. — Очнулся ночью. В лесу, где-то у реки. Ни вещей при себе. Ни памяти, как сюда попал.

Он молчал несколько секунд, разглядывая меня целиком, не задерживаясь на лице, — так же, как я сам привык оценивать незнакомого противника перед спаррингом: рост, стойку, руки, есть ли оружие, как держится вес.

— Босой, — сказал он наконец, кивнув на мои ноги. — И без ножа. В такой лес без ножа не ходят даже дурни.

Комплимент, прямо скажем, так себе, но по существу — спорить было нечем.

— Я не ходил. Очнулся.

— Голым разумом, на голой земле, да ещё с голыми ступнями, значит, — в его голосе не было ни насмешки, ни доверия — только ровный счёт ещё одного пункта, который он для себя отмечал. — Такое бывает. Редко, но бывает.

Это была первая фраза за весь разговор, которая зацепила меня сильнее, чем просто слова. Поверил он мне или нет — вопрос был не в этом; гораздо важнее было другое: он явно уже сталкивался с чем-то похожим раньше и не удивился. Я придержал этот факт при себе, решив пока не давить вопросами: человек с копьём у стены и ножом на поясе делится

сведениями, только когда сам сочтёт нужным, — требовать тут бесполезно.

Я на секунду замялся — по старой, знакомой привычке, всплывшей раньше, чем я успел её обдумать; растерянность тут была ни при чём. Меня называли Ники — полностью, так, ещё в свидетельстве о рождении, без всякого сокращения от Николая, — и всю жизнь это вызывало один и тот же вопрос у каждого нового человека: а как по-настоящему? Родители на этот счёт толком никогда не объяснялись — отец отшучивался, что имя само их выбрало, мать переводила разговор на другое, — и я в какой-то момент просто перестал спрашивать и свыкся с тем, что имя мне досталось будто нарочно для чего-то помимо документов. Здесь, перед чужим человеком с копьём в шаге от руки, была секунда соблазна назваться иначе — проще, привычнее для чужого уха. Я тут же отбросил эту мысль: врать по мелочам, не понимая и половины большой картины, — плохая привычка, а начинать новую жизнь со лжи о собственном имени казалось совсем неправильным.

— Меня зовут Ники, — сказал я, стараясь держать голос ровным — без просительных ноток, но и без вызова, — примерно так я когда-то открывал переговоры с людьми, впервые видящими меня.

Он чуть прищурился на имени — едва заметно, но я заметил.

— Ники, — сказал он, повторяя имя так медленно, что

казалось, пробует его на вкус. — Странное имя. Ни разу такого не слышал — а я, почитай, весь этот край обошёл.

Ещё одно совпадение легло поверх остальных: имя оказалось непривычным что там, что здесь — ни одному из двух миров оно, похоже, не подчинялось. Я взял это на заметку туда же, куда и всё остальное необъяснённое, и не стал озвучивать вслух.

— Горазд, — сказал он, назвав своё имя, и наконец опустил хворост на землю у сложенных дров — жест, который я прочитал как маленький, но конкретный знак: если бы он собирался напасть, не стал бы освобождать руки в мою пользу. — Ты голоден.

Это тоже не было вопросом.

— Второй день, — ответил я, хотя точно посчитать дни не мог — просто прикинул на глаз по тому, как сводило пустой желудок.

Горазд кивнул своим мыслям — видимо, это подтверждало какую-то версию, которую он уже прокручивал в голове, — и мотнул подбородком в сторону низкой двери землянки.

— Заходи. Накормлю, послушаю, что скажешь. Оружие не трогай без спроса. Не потому что не доверяю — порядок такой в моём доме, и я его не меняю ради гостей.

II

Внутри землянка оказалась просторнее, чем предполагала снаружи, — низкий свод, подпёртый толстыми балками, очаг посередине, дым от которого уходил вверх, в дымник над крышей, стены увешаны сушёными травами, пучками неизвестных мне растений и ещё одной шкурой — крупной, тёмной, с шерстью настолько плотной, что я не смог с ходу определить, какому зверю она принадлежала. Пахло дымом, сухими травами и ещё чем-то смутным — не то воском, не то старой кожей. У стены — лежанка*, аккуратно застеленная, у другой — грубо сколоченный стол с двумя лавками: похоже, когда-то Горазд рассчитывал, что за этим столом будет сидеть не только он один.

Он усадил меня на одну из лавок, снял с крюка над очагом закопчённый котелок, налил в глиняную миску что-то густое, пахнущее дичью и какими-то травами, и поставил передо мной без единого слова — пар поднимался прямо мне в лицо, — только кивком показал, что можно есть.

Я не церемонился. Тело жадно набросилось на первую же ложку — это было явное, настоящее голодание, куда серьёзнее пропущенного завтрака, — и я на несколько минут позволил себе полностью сосредоточиться на еде, не думая ни о чужом лице, ни о выжженном круге на камне, ни о вопросах, которые накопились за эту ночь в таком количестве, что не

знал, с какого начать. Я в кои-то веки не возражал против того, чтобы на меня так смотрели, — с набитым ртом трудно всерьёз разыгрывать оскорблённое достоинство.

В очаге негромко потрескивали дрова — единственный звук, если не считать наших ложек, скребущих по глине. Горазд ел неторопливо, напротив, наблюдая за мной поверх своей миски всё тем же спокойным, немигающим вниманием, — наверное, годами наблюдал так за лесом, ожидая, когда тот выдаст либо добычу, либо опасность.

— Круг на камне у воды, — сказал я, когда голод немного отступил и я снова смог складывать слова в связные предложения. — Внизу по течению. Ты знаешь, что это?

Что-то в его лице едва заметно изменилось — не тревога, скорее собранность: вопрос явно переключил его из режима «случайный чужак» в режим «дело серьёзнее, чем я думал».

— Знаю, — сказал он. — Стоял бы на твоём месте — держался бы от таких кругов подальше и не трогал их руками.

— Поздно, — признался я. — Уже потрогал. Ничего не произошло.

Горазд посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом — и в этом взгляде было что-то новое, чего не было раньше, когда он просто прикидывал, опасен я или нет.

— Значит, тебе повезло, — сказал он медленно. — Или не в том смысле «повезло», который ты себе представляешь.

III

— Объясни, — попросил я. С этим человеком я уже понял: выгоднее просить, чем требовать, — но и без той беспомощности, которая заставила бы его решить, что со мной нужно нянчиться.

Горазд отставил миску и помолчал — не сразу нашёл, с чего вообще начинать объяснение человеку, который явно не знает даже самых базовых вещей об этом мире, — а когда заговорил, голос у него стал другим: ровнее, размереннее, как у человека, привыкшего пересказывать одно и то же не в первый раз.

— Круги такие ставят не абы кто и не просто так. Верниками зовут — от старого слова, «верить», хотя иные говорят, что от «вера» в другом смысле, не в том, что в церкви. Ставят их там, где земля тонкая. Где мир — обычный, тот, что ты видишь и трогаешь, — не такой уж и плотный, как кажется.

— Тонкая земля, — повторил я — скорее давая понять, что слушаю и не перебиваю, чем в самом деле соглашаясь.

— Через такие места иногда проходит то, чему в обычном месте пройти неоткуда, — продолжил он. — Духи. Твари. Иной раз — люди, которых там не должно быть. — Он посмотрел на меня прямо, без обиняков. — Как ты, например.

Я промолчал, обдумывая услышанное. Не то чтобы не поверил — это укладывалось слишком ровно в то, что уже про-

изошло со мной этой ночью и утром, чтобы отмахнуться как от суеверия. Другое тело, чужой язык, который я почему-то понимал без запинки, — раскладывать всё это вслух перед малознакомым человеком с копьём под рукой явно было рано, да и вряд ли он вообще ждал от меня объяснений — просто слушал.

— Я хочу сказать, что тонкие места — не байки для детей на печи, — сказал Горазд, и в его голосе впервые за весь разговор прозвучало что-то похожее на усталость, старую, годами копившуюся усталость человека, который слишком много повидал того, о чём предпочёл бы не знать. — Я в этом лесу не первый десяток лет живу. Всякое случалось поблизости. И добром это, почитай, ни разу не кончалось.

— Что именно случилось? — спросил я.

— Разное, — ответил Горазд коротко, явно не собираясь углубляться. — Не всё стоит знать наперёд. Меньше знаешь — дольше живёшь. — Он не стал развивать тему, и я не стал давить: было ясно, что это не тот разговор, который он готов вести за первой же миской похлёбки с незнакомцем.

Он поднялся, подошёл к полке у стены, снял с неё что-то завёрнутое в тряпицу и, вернувшись к столу, развернул: простой нож, с деревянной рукоятю, потёртой временем, но лезвие ухоженное, острое — в свете очага оно тускло блеснуло.

— Держи, — сказал он, протягивая его мне рукоятю вперёд. — В этом лесу без него ты и до ближайшего жилья не

дойдёшь, не то что дальше.

Я взял нож — тяжесть в руке легла привычно: тело, судя по всему, помнило, как держать оружие, даже если голова не помнила, откуда.

— Спасибо, — сказал я. — За нож. За еду. За то, что не воткнул копьё мне в грудь, пока разбирался, кто я такой.

Впервые с начала разговора у Горазда дёрнулся уголок рта — не улыбка, но что-то на неё похожее.

— Ещё не вечер, — сказал он. — Но пока — заслужил. — Он сел обратно на свою лавку, посмотрел на меня уже иначе, чем при встрече, — как на задачу, которую придётся решать. — До ближайшего людского места — Криницы — два дня пешком, если знать дорогу. Ты не знаешь. Я как раз собирался туда с мехами через три дня, раньше нужного мне самому не с руки. Можешь ждать здесь и идти со мной, можешь идти сейчас один и, скорее всего, сгинуть на второй версте. Выбор твой.

Я посмотрел на нож в своей руке, на огонь в очаге, на человека напротив, который уже видел, чем заканчивается история вроде моей, — и в первый раз за эту невозможную ночь и утро выдохнул почти с облегчением: опасность как таковая никуда не делась, но впервые с момента пробуждения у меня появился хоть кто-то, кто знал больше меня и был готов этим поделиться, вместо того чтобы просто наблюдать издалека.

— Останусь, — сказал я. — Если не против лишних рук

по хозяйству — отработаю.

Горазд посмотрел на меня ещё секунду, потом кивнул: ответ, видно, устроил его.

— Дров у меня всегда не хватает, — сказал он. — Начнём с этого.

IV

Топор он вынес почти сразу же после еды. Дрова были предложением — по-настоящему его интересовало, на что способно тело, которое я теперь ношу. Колода для рубки стояла у дальней стены землянки, вросшая в утоптанную землю от долгих лет службы, вокруг неё — щепа, годами не убиравшаяся, потому что незачем, и пахло от неё смолой и сырой корой.

Я взял топор непривычным хватом — низким, ближе к самому обуху, совсем не так, как в детстве держал битую на дворовых играх, — и тело само поправило хват раньше, чем я успел об этом подумать: рука знала это лучше меня. Первый удар вышел неуверенным, чуть смазанным — я плохо рассчитал траекторию: топор задел полено вскользь, не расколов его по центру, — но уже второй лёг ровно, с гулким, сухим стуком, с тем чувством, которое я всю жизнь искал в ударе по груше: удар шёл от корпуса, от бёдер, а руки лишь довершали движение, без остановки на полпути.

Горазд наблюдал за этим со стороны, привалившись плечом к дверному косяку, и ничего не говорил минут десять — просто смотрел, как я один за другим раскалываю поленья, влезая в ровный, наработанный за годы бокса ритм, где дыхание подстраивается под усилие само, без контроля. За свою жизнь я выступал перед гораздо более придирчивыми

судьями, но реже — перед такими немногословными.

— Ты дрался, — проговорил он не сразу, всё тем же плоским, деловым тоном. Только сейчас в этом тоне мелькнуло уважение — спрятанное за привычной сухостью, но вполне заметное. — Не в кабаке дрался. По-настоящему, с чужим наставником, годами.

— Дрался, — согласился я, не вдаваясь в подробности, какими странными эти подробности прозвучали бы для человека, который в жизни не слышал слова «бокс».

Горазд хмыкнул, не ответив, но взгляд у него изменился — стал взглядом человека, который вдруг всерьёз задумался. Может, я не просто случайный чужак, свалившийся ему на голову. Может — что-то, с чем придётся считаться.

Я продолжал колоть дрова, пока не заболели плечи — приятной, знакомой болью настоящей работы, совсем непохожей на тревожную ломоту, что преследовала меня всё утро, — и за этим простым, механическим трудом голова наконец отдохнула от постоянного анализа, кажется, в первый раз за эти безумные сутки. Иногда тело само по себе — лучшее лекарство от слишком большого количества вопросов.

V

Следующие три дня растянулись в размеренный, почти монотонный быт, разительно непохожий на всё, что случилось со мной с момента пробуждения у реки, — и этой монотонности, как ни странно, я оказался благодарен больше всего. Дрова, вода из реки, помощь с шкурами, которые Горазд обрабатывал с методичностью человека, повторявшего одни и те же движения тысячи раз, — простая, физическая работа, в которой я разбирался куда увереннее, чем в вопросах о душах, кругах на камнях и чужих языках, которые я почему-то понимал. Ночами лес шумел непривычно, живым, дышащим шумом: где-то ухала птица, потрескивали ветки, шуршало что-то в подлеске, и я так и не решил для себя, стоит ли прислушиваться к этим звукам или лучше не надо.

Горазд разговаривал скупой, но не молчал — с каждым вечером у очага он выдавал ещё немного сведений: маленькими, тщательно отмеренными дозами, которые сам считал безопасными. Я узнал, что лес называется Чёрной пущей: имя досталось ему не за цвет — «чёрный» здесь означало ещё и «недобрый», «такой, куда не всякий войдёт и выйдет». Узнал, что Криница, куда мы направлялись, — не совсем город: крупное торговое село на пересечении двух трактов, где раз в сезон собирается достаточно народа, чтобы было у кого спросить дорогу дальше, если понадобится. Узнал, что вер-

ники — не единственный след «тонкой земли»: бывают места и похуже, где, по словам Горазда, «даже звери обходят по большой дуге, а птицы над ними не летают вовсе».

На словах «духи» и «твари» я поймал себя на резком внутреннем скачке к слову «магия» — будто мозг, оголодавший по хоть какому-то объяснению происходящего, ухватился за первую подходящую категорию из старых книг и фильмов, даже не спросив разрешения. Магия. Смешно и странно было произносить это слово даже мысленно — раньше оно жило только в книгах на полке, а теперь, похоже, речь шла обо мне самом. И ещё страннее было то, что оно, кажется, действительно подходило лучше любого другого объяснения. С таким же успехом Горазд мог оказаться просто одиноким стариком, годами обвешивавшим темноту вокруг себя словами, чтобы не бояться её так сильно, — суеверия обычно расцветают там, где человеку нечем объяснить необъяснимое. Проблема была в том, что необъяснимого вокруг меня уже накопилось многовато для одних только суеверий.

Про магию как таковую он говорил неохотно и уклончиво, и явно не по незнанию — это стало ясно быстро: для него это было нечто из той области, о которой вслух лишний раз не поминают, вроде тяжёлой болезни, которую не называют по имени, надеясь, что она обойдёт стороной. На мой прямой вопрос, бывает ли в этом мире то, что я привык бы называть чародейством, он лишь дёрнул плечом и сказал: «Бывает всякое. Меньше знаешь — дольше живёшь», — и этим

разговор в тот вечер был закрыт.

К исходу третьего дня я уже двигался в этом теле настолько уверенно, что почти забывал о его чуждости, — узнавал вес топора в руке, знал, сколько шагов от землянки до реки, привык к вкусу похлёбки Горазда и к тому, что просыпаюсь с рассветом без будильника, как просыпался всегда. Только чужое лицо в отражении холодной воды каждое утро напоминало, что забывать рано.

Утром четвёртого дня Горазд связал тук с мехами, закинул его на плечо, кивнул мне на дорогу и сказал коротко:

— В Криницу. Держись рядом и молчи больше, чем говоришь, пока не поймёшь, с кем там можно, а с кем нельзя.

Мы вышли из леса на едва заметную тропу — утренний воздух ещё холодил горло, — и я в последний раз обернулся на землянку, вросшую в холм, — единственное, что успело стать хоть немного знакомым в этом мире за три дня, — и пошёл следом.

* * *

* Лежанка — невысокий дощатый настил или скамья для сна, часто у очага или печи
Верста — старинная мера длины, чуть больше километра.

Глава 4

Тракт

I

Тропа, на которую вывел меня Горазд, была едва заметна первую пару вёрст — примятая трава, редкие зарубки на стволах на уровне груди, — но постепенно расширялась, обростала следами телег и копыт, пока не превратилась в настоящий, пусть и грунтовый, тракт*: две глубокие колеи, разбитые дождями, утоптанная обочина между ними и въевшийся в пыль запах не то навоза, не то просто чужого, много раз пройденного пути.

Шли мы почти весь день, с редкими остановками — Горазд задавал темп ровный, экономный, шаг в шаг, как заведённый, и сбивался только на привалах. Тюк с мехами он нести мне не позволил, хотя я дважды предлагал, — «своя ноша плечи не давит, а чужая приучает лениться», сказал он один раз и больше к этому не возвращался.

Лес постепенно редел, уступая место сначала перелескам, потом настоящим полям — неровным, лоскутным, огороженным то плетнём, то просто грудой камней, собранных с земли за много лет распашки. Первую деревню мы прошли, не заходя, — несколько дворов, дым из труб, лающая на нас из-за забора собака, — и я поймал себя на том, что рассмат-

риваю самые обычные вещи с почти музейным вниманием: печные трубы, форму крыш, одежду на верёвке, детей, гоняющих обруч по пыльной дороге. Пахло дымом и навозом — до того обычно, что на секунду весь этот другой мир сжимался до размеров соседней области. Ничего сверхъестественного. Просто чужой уклад, узнаваемый ровно настолько, чтобы не пугать, и незнакомый ровно настолько, чтобы напоминать о себе каждую минуту.

И эта узнаваемость, если вдуматься, пугала больше, чем любая настоящая экзотика. Если бы вокруг были трёхголовые быки или дома на куриных ногах, я хотя бы мог с чистой совестью списать это на бред умирающего мозга и жить с этим объяснением дальше. Но передо мной были собаки, лающие так же, как лают собаки дома. Дети, гоняющие обруч так же, как гоняли обруч дети во дворе моего детства, только без пластика и ярких красок. Дым из труб поднимался вертикально в безветренную погоду. Мир был не мой — в этом сомневаться не приходилось, — но тогда почему он до последней мелочи подчинялся той же физике и той же биологии: огонь горел вверх, вода текла вниз, а люди рождались, старели и хотели есть по расписанию, знакомому мне до тошноты? Либо мир один на всех, просто огромный настолько, что где-то в нём нашлось место для леса с горящими рунами и деревень, ничем не отличимых от той, в которой я вырос, — либо законы, по которым всё устроено, вообще не привязаны к конкретному месту, просто разлиты рав-

номерно по любой реальности, способной вообще существовать. Ни одна из версий не была особенно утешительной, но обе, по крайней мере, снимали с меня необходимость удивляться каждой отдельной ветке и каждой отдельной собаке. Я решил пока просто принять: мир другой, но не настолько другой, чтобы жить в нём было физически невозможно, — а остальное можно будет разложить по полочкам позже, когда появится время сесть и подумать спокойно, а не на ходу, голодным и босым.

— Не глазей так, — сказал Горазд негромко, не оборачиваясь. — Чужаков и так на дороге видно за версту по одной посадке головы. Глазеешь на всё подряд — за версту с полторы.

Горазд, судя по всему, принадлежал к редкой породе учителей, которые никогда не хвалят, зато с замечаниями не задерживают — примерно так же школьный физрук исправлял мою стойку, только без крика и без десяти отжиманий в наказание.

Я взял себе на заметку и постарался идти, глядя перед собой чуть чаще, чем по сторонам. Получалось, честно говоря, средне — привычка сканировать обстановку въелась в тело крепче, чем я думал.

II

Горазд разговаривал в дороге охотнее, чем дома, — то ли сама ходьба развязывала язык, то ли ему просто было привычнее говорить о деле, глядя вперёд, а не сидя напротив собеседника за столом. Он рассказывал скорее как обычный старик, повидавший свою жизнь на одном месте и знающий о ней ровно то, что знает любой местный, чем как учёный человек, раскладывающий знание по полочкам: слухи, байки, пересказанные через третьи руки истории, в которые сам не до конца верил, но и не отбрасывал полностью.

— Криница под рукой у боярина Вроницкого стоит, — говорил он, кивая на дорогу впереди, в подтверждение собственных слов. — Не злой человек. Не добрый, впрочем, тоже — обычный, каких много. Дань берёт исправно, но зря народ не трогает, и то ладно.

Самая частая и самая непримечательная характеристика для человека с властью — и, если вдуматься, едва ли не лучшая из тех, на что вообще стоит рассчитывать.

— А дальше Криницы что? — спросил я.

— Дальше — Городец, там уже посерьёзнее власть, дружина настоящая, не то что боярская сотня. А про самый дальний край я и сам толком не знаю — не ходил, врать не буду. Люди сказывают всякое, только у людей послушать — так за каждым лесом либо клад, либо погибель, и то и другое

обычно враньё.

Мне понравилась эта его оговорка — честная, без претензии на большее, чем есть на самом деле. Она сразу очерчивала границы того, что он вообще мог мне предложить: карту слухов вместо карты мира, местами точную, местами — просто тем, что люди рассказывают друг другу у костра, чтобы вечер не казался таким пустым.

Слово вертелось у меня в голове ещё с самого утра у реки, и я никак не мог решить, насколько серьёзно вообще имею право его произносить. Маги. Что за бред. Двадцать пять лет я жил в мире, где это слово существовало исключительно на обложках книг и в титрах фильмов, — а теперь я стоял на грунтовой дороге, ловя себя на желании спросить о них у случайного старика с копьём, как спрашивают дорогу до автобусной остановки. Но если они здесь реальны — такая же часть мира, как реки и деревни, — то они, возможно, единственные, кто мог бы объяснить мне хоть что-то настоящее вместо чужих домыслов: что случилось со мной, почему круг на камне не сжёг мне пальцы, почему я понимаю язык, которого никогда не учил. А если Горазд просто суеверный старик, наслушавшийся баек за долгую жизнь у леса, тогда «маги» — это, скорее всего, обычные учёные в этом мире, кем бы они себя ни называли, а учёные, по крайней мере, привыкли отвечать на вопросы, а не шарахаться от них.

— А про магов что говорят? — спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал буднично, без того жадного любопыт-

ства, которое, я подозревал, могло насторожить его сильнее прямого вопроса о верниках.

Горазд помолчал несколько шагов, прежде чем ответить.

— Говорят, есть в Городце дом какой-то учёный, где таких учат, — сказал он наконец. — Сам я мага живого видел раза два в жизни, издалека, и оба раза предпочёл поскорее убраться с дороги. Дурного от них лично не видел. Просто у нас в округе так говорят: чем меньше маг тебя замечает, тем длиннее твоя жизнь. Может, и брехня. А может, и нет. Проверять неохота.

Осторожность Горазда меня не пугала — скорее наоборот, она включила во мне что-то знакомое, почти рабочее. Приспосабливаться к чужим правилам я умел всегда — сказывалась многолетняя привычка не тратить время впустую: раз уж всё равно приходится терять его на чужую систему, глупо не выжать из ситуации хоть какую-то пользу. Срочную я отслужил уже после института, перед тем как устроиться в охрану — и большинство коллег потом слушали мои рассказы про это как про потерянный год, а для меня тот год оказался едва ли не самым продуктивным за всю раннюю юность просто потому, что я отказался воспринимать его как потерю. Там гоняли строем на завтрак ровно в шесть, требовали подшивать подворотнички миллиметр в миллиметр и красили траву перед приездом проверяющих — глупость на глупости, из тех, что кажутся бессмысленными, потому что они и есть бессмысленные, — но в этой же бессмысленно-

сти была куча пустого, ничем не занятого времени: часы в наряде, где нужно было просто стоять и не спать, часы после отбоя, когда остальные просто убивали время трёпом. Я на память гонял английские слова в те часы в наряде, повторял их про себя строчку за строчкой, пока сержант орал на кого-то в другом конце коридора, — и вышел из армии с рабочим английским, который потом не раз пригождался, и с чётким пониманием: дисциплина других людей — это ещё одна форма зала, только тренера в нём не выбираешь; правила там задаёт кто-то другой, а что делать с ними внутри отведённых мне рамок, решаю я сам. Если условия вокруг менялись в худшую сторону, я не тратил силы на то, чтобы бороться с самими условиями, — я искал, в какую сторону в этих новых условиях всё-таки можно двигаться вперёд. Не самый героический вывод из целого года в сапогах, зато честный и, как выяснилось много позже, универсальный — годится хоть для армии, хоть для леса с горящими рунами. Этот мир, при всей его пугающей чужеродности, ничем принципиально не отличался от той логики: правил я пока не знал, но привычка искать в них зазор для собственного движения никуда не делась вместе со старым телом.

Это было ровно то же самое «меньше знаешь — дольше живёшь», просто повёрнутое другим боком, и я понял, что вытянуть из Горазда больше, чем осторожные слухи и личное благоразумие пожившего человека, не получится. Он не хитрил и не скрытничал — ему попросту нечего было пред-

ложить сверх этого. Он не был хранителем тайного знания. Он был просто человеком, который дожил до седины ровно потому, что не совал нос туда, куда не звали, и вся его «мудрость» была мудростью осторожности — не осведомлённости.

III

К вечеру мы свернули с дороги на небольшую, хорошо утопанную поляну — судя по старому кострищу и грубо сложенным из камня бортикам очага, здесь останавливались многие путники до нас. Горазд разжёг костёр с той же экономной уверенностью, что и всё остальное, и мы поужинали вяленным мясом и остатками хлеба, который он захватил из дома.

— Завтра к полудню будем в Кринице, если дождь не зарядит, — сказал он, глядя в огонь. — Дальше — твоя дорога, не моя. Меха продам, куплю что нужно по хозяйству, обратно пойду через два-три дня. Хочешь — оставайся при мне и дальше, хочешь — ищи своё.

— Ещё не решил, — честно ответил я. Это было правдой: у меня не было ни малейшего представления, что вообще может значить «своё» в мире, где я не знал ни законов, ни языка письма, ни единой живой души, кроме человека, сидящего сейчас напротив у костра.

Горазд кивнул — ответ, кажется, его устроил, — и какое-то время мы сидели молча, слушая потрескивание веток и дальний, едва различимый шум ветра в кронах за пределами поляны.

Именно в этой тишине я и услышал то, что не укладывалось ни в одну из версий про «обычный лес у обычной до-

роги».

Звук пришёл со стороны деревьев — слишком тонкий и слишком правильный для хруста ветки под лапой зверя или шороха листвы на ветру: три коротких, ровных удара с одинаковым интервалом. А потом настала тишина — слишком полная тишина, в которой разом умолкли и цикады, и все прочие мелкие ночные голоса леса.

Горазд напрягся мгновенно — я увидел это по тому, как его рука без единого лишнего движения легла на рукоять ножа, а взгляд метнулся к костру, будто его тревожило не столько что это было, сколько то, что нас в его свете так хорошо видно.

— Тихо, — прошептал он одними губами. — И не смотри туда прямо. Смотри мимо.

Я послушался, хотя и не понимал зачем, — интонация в его голосе не оставляла места для вопросов, — и краем зрения, чуть в стороне от того места, откуда донёсся стук, увидел то, чего в лесу не должно было быть: между двумя деревьями, примерно на высоте человеческого роста, воздух чуть заметно дрожал, как дрожит раскалённый воздух над летним асфальтом, — но ночь была холодной, и никакого жара рядом взяться было неоткуда.

Дрожь держалась несколько долгих секунд, потом медленно, нехотя, растворилась — и вместе с ней вернулись и цикады, и обычные ночные шорохи, будто лес выдохнул.

Горазд не убрал руку с ножа ещё добрую минуту после то-

го, как всё стихло. У меня взмокли ладони, хотя ночь стояла прохладная.

— Что это было? — спросил я тихо, когда счёл, что можно снова говорить в полный голос.

— Не знаю, — ответил он так же тихо, и в этом коротком, честном ответе было куда больше веса, чем в любой из его прежних баек. — И знать не хочу. Просто радуйся, что оно прошло мимо, а не к нам.

Я посмотрел туда, где ещё недавно дрожал воздух, — теперь снова обычный, тёмный промежуток между стволами, — и впервые с момента пробуждения у реки почувствовал что-то более простое и куда более древнее, чем любопытство или растерянность: животный, безошибочный сигнал, что мимо только что прошло что-то, чего в мире, где я родился, не существовало вовсе, и что в этом мире оно, кажется, самая обычная, будничная опасность, с которой Горазд, судя по его лицу, сталкивался не в первый раз — но которую до сих пор не воспринимал как нечто, к чему можно привыкнуть.

Той ночью я спал хуже, чем в прошлые три. Холод и жёсткая земля были ни при чём — я только что своими глазами увидел то, что раньше называл про себя «просто словом», которым утешался последние дни. Оказалось, «магия» — факт, такой же неопровержимый, как земля под ногами.

Лёжа без сна, глядя в чужое небо без единого знакомого созвездия, я неожиданно поймал себя на мысли настолько

огромной, что она почти успокаивала своим масштабом. Я умер. Я оказался в другом мире, в чужом теле, среди чужого языка, который зачем-то понимаю без усилий, — и при этом до сих пор ни разу толком не задался вопросом, который, по хорошему, должен был свести меня с ума в первую же секунду: что вообще такое смерть, если после неё есть продолжение. Ответа на этот вопрос не было ни у меня, ни, подозреваю, ни у одного человека, когда-либо жившего что там, что здесь, — вселенная слишком велика, слишком равнодушно необъятна, чтобы укладываться в аккуратные объяснения, которые люди себе придумывают от страха перед темнотой. Может быть, то, что случилось со мной, — самый обычный факт мироздания, происходящий тише и чаще, чем кто-либо готов признать, просто никто не возвращается рассказать об этом остальным. Тревога от этой мысли слегка улеглась — просто потому, что мысль оказалась слишком огромной, чтобы с ней бороться в темноте у чужого костра: биться головой над «почему именно я» и «что там вообще, после» можно было бы всю оставшуюся жизнь и не продвинуться ни на шаг, но жизнь, похоже, у меня снова была, и тратить её на неразрешимое означало повторить ошибку, из-за которой люди в моём старом мире умирали, так и не пожив по-настоящему. Значит, не буду. Разбираться с необъятным космосом смысла нет. Есть смысл разобраться с конкретным лесом, конкретной дорогой и конкретным стариком напротив костра — а дальше видно будет. Приспособиться я умел

всегда, и вопрос «что после смерти» в список вещей, требующих немедленного решения, не входил.

* * * Тркт — оживлённая проезжая дорога между крупными поселениями, в отличие от простой лесной тропы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.